
НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ

НЕРАЗМЕННЫЙ

РУБЛЬ



Библиотека духовной прозы

Николай Лесков

**Неразменный рубль:
Повести и рассказы**

«Издательство Сретенского Монастыря»

УДК 821.161.1-3Лесков
ББК 84(2=411.2)1-44

Лесков Н. С.

Неразменный рубль: Повести и рассказы / Н. С. Лесков —
«Издательство Сретенского Монастыря», — (Библиотека
духовной прозы)

ISBN 978-5-7533-1250-1

В книгу вошли повести и рассказы русского писателя Николая Семеновича Лескова (1831–1895): «Овцебык», «Житие одной бабы», «Воительница», «Котин доилец и Платонида», «Печерские антики», «Зверь», «Неразменный рубль», «Тупейный художник», «Пугало», «Дурачок».

УДК 821.161.1-3Лесков
ББК 84(2=411.2)1-44

ISBN 978-5-7533-1250-1

© Лесков Н. С.
© Издательство Сретенского
Монастыря

Содержание

Иван Лукаш	6
Овцебык	10
Глава первая	10
Глава вторая	17
Глава третья	20
Глава четвертая	25
Глава пятая	31
Глава шестая	36
Глава седьмая	38
Глава восьмая	41
Глава девятая	43
Глава десятая	46
Глава одиннадцатая	49
Глава двенадцатая	50
Житие одной бабы	54
Часть первая	54
Часть вторая	89
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Николай Лесков

Неразменный рубль: Повести и рассказы

Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви
ИС Р16-611-0447



© Сретенский монастырь, 2016

Иван Лукаш Лесков

*Россия во Христа крестится,
но во Христа еще не облеклась.*

*Николай Лесков.
На краю света*

...Мир Лескова померк ли, запылится ли так же, как «небо в алмазах» Чехова и многое другое, что было и после Чехова? Нет, мир Лескова горит ярко, зловещими и ослепительными огнями.

Нелюбимый, затравленный, жалящий, невыносимо одинокий Лесков острым углом врежется в свою эпоху, уже сошедшую в туманность, и теперь кажется, что именно Лесков был единственно отлитой формой, утверждением и очерченной до конца фигурой той эпохи, когда все в России теряло формы, смешивало очертания, исходило отрицательством и опростительством, сдвигаясь в хаос чувств и дел, чтобы померкнуть на наших глазах Россией-сумбуром.

Как будто один Лесков противостоит надвигающейся мгле, он всегда в борении, и он всегда кажется напряженным, подобранным все жилы и мускулы или для прыжка, или чтобы подставить грудь удару. И его глаза, остро-прищуренные, зеленоватые, и жесткая бородка, и еж, и сухое, измученное и мучающее лицо – во всем «строжка» и во всем следы невыносимого борения. Своеобразный, необычайный, отдельный во всем, замкнутый в себе – некий особый мир, только касающийся нашего общего мира, – такие определения Лескова напрашиваются прежде всего.

Его мир резко отличен от окружающей эпохи, он писатель не своего времени, и уже отсюда его беспощадная распря с современным ему «обществом».

«Левые» отбросили его от литературы, травили с восторгом, и Писарев отдавал приказы, чтобы «ни один журнал не осмеливался печатать на своих страницах что-нибудь, вышедшее из-под пера» Лескова. «Левые» объявили его мракобесом. А «правые», а мракобесы, и среди них такой, как Победоносцев, объявили Лескова «потаенно- и хитро-ласковым нигилистом». Все враги. Один.

Не только «правые» и «левые», а все крайности человеческой природы сходились в Лескове. Он, несомненно, одержимый, а как трудно в одержимости, и особенно русской, отличить святость от бесовщины. В Лескове было и то, и другое.

В его «Воительнице» с презрительной ненавистью начертана образина русской бабищи, приятной, чернобровой дебелухи, молитвенницы и вместе сводницы. Та же бабища, уездная леди Макбет, купчиха Катерина Львовна, с любовником Сережкой душит отрока Федю именно тогда – вот именно тогда! – когда отрок читает житие ангела своего Феодора Студита. «Зверь» с доезжачим Храпошкой, «Тупейный художник», или «образочки», вставленные в глазные впадины Платониды, или холодная насмешка над всей мертвой церковностью в «Фигуре» – все это терзающая Виева Россия, которую увидел Лесков.

Ее внешнему параду он не верит, он издевается над всеми ее «Функендорфами и Кисельвроде», «мечтающими о том, как бы выпороть всю Россию и учредить Парижскую губернию». Лесков выражает презрение к людям этой России, «бесстыдным людям», по его определению, «мы, как кошки, куда нас ни брось, везде мордой в грязь не ударим, прямо на лапки станем, где что уместно, так себя там и покажем: умирать – так умирать, а красть – так красть». Такой России «остается только погибнуть... Мы – Рассея».

Рассея, от слова *рассеяться*, вот чем была для Лескова Россия. Подавляющим кошмаром, которому только исчезнуть, сгинуть – рассеяться.

«Наша Россия должна разлететься, wie Bauch» – не то заклинает, не то злорадствует он в «Смехе и горе», со всеми своими ужимочками, со смешком, почти косноязычно.

Видением конца России замыкает Лесков круг русских пророчеств. Видел Пушкин, что его Россия кончится ничтожеством ничтожных, и презрительно обозвал русских негритянской кличкой «блондосы». Знал Гоголь, что «русский человек – пропащий человек», которого испугает «его ничтожность», и охватывал Гоголя «сокровенный ужас при виде тех событий, которым повелел Бог совершиться на земле, назначенной быть нашим отечеством». Те же вещи глаза открылись у Лескова.

И когда он увидел конец России, открылось и его страшное борение за Россию, отчаянная оборона от судьбы.

Отчаянная борьба. Один против всех – что там «правые» или «левые», весь русский сумбур со всеми его людьми, – но один против всех сил видимых и невидимых, против самой судьбы, может быть, Самого Бога, если Бог обрек Россию рассеянию...

«Гляди: святые буквы в книге налились кровью...»

Лесков увидел и забился в судорогах. Все, им написанное, – один терзающий вопль, и кажется, что Лесков всегда осеняет себя крестным знаменем – «с нами крестная сила».

«Однодум», «Несмертельный Голован», «Запечатленный ангел», «Фигура», «Овцебык», «Кадетский монастырь», «На краю света», «Котин доилец...», «Пугало» – все это знамения того, в чем Лесков видел спасение, выход России из рокового круга. Герои лесковской галереи – кроткие духом и чистые сердцем люди в полноте и красоте своего добродетельства – русские праведники. Лесков их не выдумывал. Он списывал их с природы. Праведники были, на них и полагал Лесков краеугольный камень России, ее спасение. Праведники, люди Третьего Царствия, по слову апостола Павла, «вместилища Духа Святого», именно они, чудаки и юроды для всего сумбурного и несправедливого мира, их окружающего, по вере Лескова, «стоя в стороне от истории, сильнее других делают историю». Лесков не верил в Россию – ни в Пушкина, ни в Петра – всем им рассеяться, но он верил в русских праведников, в праведную Россию, человека Божественной правды и справедливости.

«Россия во Христа крестится, но во Христа еще не облеклась». Это тоже слова Лескова. Он – двойник Гоголя, одни у них глаза на Россию, и одно терзание за Россию, и одна одержимость, иступленное заклинание, призыв крестных сил за нее, уже обреченную.

Лесков, с его ежом, точно бы вставшим дыбом от ужаса, с его пристально-прищуренными, как у сумасшедшего, глазами, всегда напоминает отчаявшегося в своем магическом круге философа Хому, который, косноязыча и захлебываясь, отчитывает всеми заклинаниями ведьму, но силы тьмы, но дряхлые страшилища, самый Вий уже ломаются за магическую черту, уже осилиют заклинание...

Лесков окружил себя русскими праведниками, как магическим кругом.

И когда он уставал от битвы с судьбой, он точно закрывал глаза на все, что творится кругом, – на Россию и на ее людей, – он замыкался в своем вневременном круге – в созерцательной неподвижности, в праведном стоянии и, как искусный изограф, писал образы своих отшельнических видений. Таковы его «Апокрифы», прекрасные и усталые.

И когда отчаивался Лесков, он потешался, он издевался над всем тем, что все равно должно согнуться, – над Рассеей, и его прославленный язык – язык отчаяния.

Непременное искажение слов, причудливое сцепление фраз, нарочитая неправильность, тяжелые груды языковых сочетаний – точно Лесков пишет не на русском языке – на причудливом языке Рассеи, Пошехонии или комедии о царе Максимилиане.

Эта гротесковая и нарочитая смесь простонародной, солдатской и департаментской «кочевряжистой» речи, куда еще изобильно влиты четыминейные обороты и образы. Это смутный язык послепетровского имперского смешения, как бы еще не дошедший до сознания, еще не переработанный им. Именно таким языком говорит лесковская Рассея.

Органическая ткань его рассказа всегда подавлена физиологической языковой тканью. Лесков лепит из языковых образов, он необычайный языковой лепщик. «Левша» без его языка не был бы «Левшой». А ведь это нагромождение потешающих слово-образований и почти болезненных словоискажений: «и посередине под валдохином стоит Аболон Полведерский», и все эти «мелкоскопы», «верояции», «тугаменты», «непромокабли», «морские водолазы» и прочее. То же в «Полуночниках» с известными «фимиазмами». В «Кольванском муже» Лесков немедленно переименовывает одну из героинь Генриетту в Венигрету и сам замечает: «прозвать ее Венигретой могло только наше русское пустосмещение».

Пустой смех над пустотой, над тем, чему рассеяться, – часто это и есть смех Лескова.

Причудливую вязь, его необычайные языковые элементы и методы легче всего проследить на изумительном «Очарованном страннике», где сливаются в один сплав такие слова, как «форсисто», «манера», «характер», с такими четыминейными словами, как «жарынь», «блещание», «обнагощенный», где, описывая, например, могущество хана Джангара, Лесков прибегает к удивительному приему «заумности», накопления словесных бессмыслиц: «Хан Джангар в степи все равно что царь... Царюет, и у него там в Рынь-Песках, говорят, есть свои шихи и шихсады, и молозады, и мамы, и азии, и дербаши, и уланы...»

Язык Пушкина – гармоническая мера необходимости и простоты, всегда процеженная сквозь ясное сознание. Язык Лескова – отказ от сознания.

В лесковском языке все словно дымится, и громоздится, и выпячивает несуразности, и сходится в причудливые нелепости.

На русский язык Лесков смотрит как бы со стороны, как может смотреть иностранец, в совершенстве владеющий чужим языком. Лесков всегда, так сказать, надевает языковую маску, прикрывая ею себя.

Иностранец, конечно, «парадоксальное» определение, но для России он, несомненно, был иностранцем. Его Однодумы, Голованы – тоже чудаковатые иностранцы в этой Рассее, а «рассейский» язык для него как бы чужой язык, который он изображает.

Лесков и в действительности был окружен иностранцами. Он скитался по России, как приказчик англичанина Шкота, управляющего именьями Перовских и Нарышкиных. Семья Шкота воспитывала его так же, как подруга его тетки, квакерша-англичанка Гильдегард. Симпатии к англичанам – самые прочные симпатии Лескова. В самой манере изображения, в склонности к чудачкам и причудам есть у него английский вкус.

Внутренний мир Лескова как бы вне русского мира, Лесков как бы вне России. В этом он снова повторяет Гоголя.

В «Переписке с друзьями» Гоголь признается: «Во время пребывания моего в России Россия у меня в голове рассеивалась», и так открывает свою, как бы сказать, внерусскую сущность или, вернее, необходимость отрыва от русского мира, необходимость духовного пребывания вне его, чтобы узнать ему цену: «Узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее».

Такое познание России и такое добывание любви к ней не исполняется ли на нас, русском рассеянии, пребывающем вне России? Одинокая судьба Лескова и Гоголя не наложена ли теперь на всех нас?

4 февраля 1931 года минет столетие со дня рождения Лескова в селе Глухове Орловской губернии. Его забытую могилу вряд ли вспомнят в будущем году, как не вспомнили и теперь...

Тридцатые годы с суровой нянькой из московских солдаток были детством Лескова, и отрочеством – сороковые, и молодостью – пятидесятые. Он уже сложился в эпоху Гоголя, и чувствование России он вынес из зрелища николаевских железных времен. Арестанты и кантонисты, палочные учения солдат и плети палачей, мерзость крепостничества – ложь духа, империя белоглазых рабов, его Рассея или угрюмо-покорная и зловещая Блондосия Пушкина – смертным страхом и смертной тоской повили Лескова. Мы не знаем тайны пушкинского

перстня, но нам понятен талисман Лескова: до самой смерти он носил кольцо, куда был вделан камень «александрит», камень освобождения России от крепости...

Облитая горячими слезами, иступленная любовь к человеку не умолкает на страницах Лескова. «Распинался с Россией и был с распинающими ее», – говорит он о себе. Для него было одно спасение, один путь: человек. А где человек? В отчаянии, среди «мертвых душ» пал Гоголь. За живого человека с самим роком, может быть, с Самим Богом, обрекшим Россию несправедному и бесчеловечному концу, боролся Лесков, хромым наш Иаков.

Не человеческой – бесчеловечской стала Россия на наших глазах. Лесков и теперь в глухом одиночестве, и теперь он писатель не нашего времени. Он писатель будущего, и услышат его, когда будет Россия правды, а не лжи, Россия человеческая, а не бесчеловечская. Праведная Россия – если только ей быть суждено.

1930 г.

Овцебык

*Питается травой, а при недостатке ее и лишаями.
Из зоологии*

Глава первая

Когда я познакомился с Василием Петровичем, его уже звали Овцебыком. Кличку эту ему дали потому, что его наружность необыкновенно напоминала овцебыка, которого можно видеть в иллюстрированном руководстве к зоологии Юлиана Симашки. Ему было двадцать восемь лет, а на вид казалось гораздо более. Это был не атлет, не богатырь, но человек очень сильный и здоровый, небольшого роста, коренастый и широкоплечий. Лицо у Василия Петровича было серое и круглое, но кругло было только одно лицо, а череп представлял странную уродливость. С первого взгляда он как будто напоминал несколько кафрский череп, но, всматриваясь и изучая эту голову ближе, вы не могли бы подвести ее ни под одну френологическую систему. Прическу он носил такую, как будто нарочно хотел ввести всех в заблуждение о фигуре своего «верхнего этажа». Сзади он очень коротко выстригал весь затылок, а наперед от ушей его темно-каштановые волосы шли двумя длинными и густыми косицами. Василий Петрович обыкновенно крутил эти косицы, и они постоянно лежали свернутыми валиками на его висках, а на щеках загинались, напоминая собою рога того животного, в честь которого он получил свою кличку. Этим косицам Василий Петрович более всего был обязан своим сходством с овцебыком. В фигуре Василия Петровича, однако, не было ничего смешного. Человек, который встречался с ним в первый раз, видел только, что Василий Петрович, как говорится, «плохо скроен, да крепко сшит», а взглядевшись в его карие, широко расставленные глаза, нельзя было не видеть в них здорового ума, воли и решительности. Характер Василия Петровича имел много оригинального. Отличительною его чертою была евангельская беззаботливость о себе. Сын сельского дьячка, выросший в горькой нужде и вдобавок еще рано осиротевший, он никогда не заботился не только о прочном улучшении своего существования, но даже никогда, кажется, не подумал о завтрашнем дне. Ему отдавать было нечего, но он способен был снять с себя последнюю рубашку и предполагал такую же способность в каждом из людей, с которыми сходил, а всех остальных обыкновенно называл кратко и ясно «свиньями». Когда у Василия Петровича не было сапогов, то есть если сапоги его, как он выражался, «совсем разевали рот», то он шел ко мне или к вам, без всякой церемонии брал ваши запасные сапоги, если они ему кое-как всходили на ногу, а свои осметки оставлял вам на память. Дома ли вы или нет, Василию Петровичу это было все равно: он располагался у вас по-домашнему, брал, что ему нужно, всегда в возможно малом количестве, и иногда при встрече говорил, что он взял у вас табаку, или чаю, или сапоги, а чаще случалось, что и ничего не говорил о таких мелочах. Новой литературы он терпеть не мог и читал только Евангелие да древних классиков; о женщинах не мог слышать никакого разговора, почитал их всех поголовно дурами и очень серьезно жалел, что его старуха-мать – женщина, а не какое-нибудь бесполое существо. Самоотвержение Василия Петровича не имело границ. Он никогда не показывал кому-нибудь из нас, что он кого-нибудь любит; но все очень хорошо знали, что нет жертвы, которой бы Овцебык не принес для каждого из своих присных и знакомых. В готовности же его жертвовать собою за избранную идею никому и в голову не приходило сомневаться, но идею эту нелегко было отыскать под черепом нашего Овцебыка. Он не смеялся над многими теориями, в которые мы тогда жарко верили, но глубоко и искренно презирал их.

Разговоров Овцебык не любил, делал все молча, и делал именно то, чего вы в данную минуту менее всего могли от него ожидать.

Как и почему он сошелся с маленьким кружком, к которому принадлежал и я во время моего непродолжительного житья в нашем губернском городе, – я не знаю. Овцебык года за три перед моим приездом окончил курс в Курской семинарии. Мать, кормившая его крохами, собираемыми ради Христа, с нетерпением ждала, когда сын сделается попом и заживет на приходе с молодою женою. Но у сына и мысли не было о молодой жене. Жениться Василий Петрович не имел ни малейшего желания. Курс был окончен; мать все осведомлялась о невестах, а Василий Петрович молчал и в одно прекрасное утро исчез неизвестно куда. Только через полгода прислал он матери двадцать пять рублей и письмо, в котором уведомлял нищенствующую старуху, что он пришел в Казань и поступил в тамошнюю духовную академию. Как он дошел до Казани, отломав более тысячи верст, и каким образом достал двадцать пять рублей – это осталось неизвестным. Овцебык ни слова не написал об этом матери. Но не успела старуха порадоваться, что ее Вася будет когда-нибудь архиереем и она будет тогда жить у него в светлой комнатке с белой печкою и всякий день по два раза пить чай с изюмом, Вася как будто с неба упал – неожиданно-негаданно снова явился в Курске. Много его расспрашивали: что такое? как? отчего он вернулся? – но узнали немного. «Не поладил», – коротко отвечал Овцебык, и больше от него ничего не могли добиться. Только одному человеку он сказал немножко более: «Не хочу я быть монахом», а больше уж никто от него ничего не добился.

Человек, которому Овцебык сказал более, чем всем прочим, был Яков Челновский, добрый, хороший мальчик, неспособный обидеть мухи и готовый на всякую службу ближнему. Челновский доводился мне родственником в каком-то далеком колене. У Челновского я и познакомился с коренастым героем моего рассказа.

Это было летом 1854 года. Мне нужно было хлопотать по процессу, производившемуся в курских присутственных местах.

В Курск я приехал в семь часов утра в мае месяце, прямо к Челновскому. Он в это время занимался приготовлением молодых людей в университет, давал уроки русского языка и истории в двух женских пансионах и жил не худо: имел порядочную квартиру в три комнаты с передней, изрядную библиотеку, мягкую мебель, несколько горшков экзотических растений и бульдога Бокса, с оскаленными зубами, весьма неприличной турнюрой и походкой, которая слегка смахивала на канкан.

Челновский чрезвычайно обрадовался моему приезду и взял с меня слово непременно остаться у него на все время моего пребывания в Курске. Сам он обыкновенно бегал целый день по урокам, а я то навещал гражданскую палату, то бродил без цели около Тускари или Сейма. Первую из этих рек вы совсем не встретите на многих картах России, а вторая славится особенно вкусными раками, но еще большую известность она приобрела через устроенную на ней шлюзовую систему, которая поглотила огромные капиталы, не освободив Сейма от репутации реки, «неудобной к судоходству».

Прошло недели две со дня приезда в Курск. Об Овцебыке никогда не заходило никакой речи, я и не подозревал вовсе существования такого странного зверя в пределах нашей черноземной полосы, изобилующей хлебом, нищими и ворами.

Однажды, усталый и измученный, возвратился я домой часу во втором пополудни. В передней меня встретил Бокс, стороживший наше жилище гораздо рачительнее, чем восемнадцатилетний мальчик, состоявший в должности нашего камердинера. На столе в зале лежал суконный картуз, истасканный донельзя; одна грязнейшая подтяжка с надвязанным на нее ремешком, просаленный черный платок, свитый жгутом, и тоненькая палочка из лесной орешины. Во второй комнате, заставленной книжными шкафами и довольно щеголеватую кабинетную мебелью, сидел на диване запыленный донельзя человек. На нем были ситцевая розовая рубашка и светло-желтые панталоны с протертыми коленями. Сапоги незнакомца были

покрыты густым слоем белой шоссейной пыли, а на коленях у него лежала толстая книга, которую он читал, не нагиная головы. При входе моем в кабинет запыленная фигура бросила на меня один беглый взгляд и опять устремила глаза в книгу. В спальне все было в порядке. Полосатая холстинковая блуза Челновского, в которую он облачался тотчас по возвращении домой, висела на своем месте и свидетельствовала, что хозяина нет дома. Никак я не мог отгадать, кто этот странный гость, расположившийся так бесцеремонно. Свиный Бокс смотрел на него как на своего человека и не ласкался только потому, что нежничанье, свойственное собакам французской породы, не в характере псов англо-саксонской собачьей расы. Прошел я опять в переднюю, имея две цели: во-первых, расспросить мальчика о госте, а во-вторых – вызвать своим появлением на какое-нибудь слово самого гостя. Мне не удалось ни то, ни другое. Передняя по-прежнему была пуста, а гость даже не поднял на меня глаз и спокойно сидел в том же положении, в котором я его застал пять минут назад. Оставалось одно средство: непосредственно обратиться к самому гостю.

– Вы, верно, Якова Иваныча дожидаете? – спросил я, остановясь перед незнакомцем.

Гость лениво взглянул на меня, потом встал с дивана, плюнул сквозь зубы, как умеют плевать только великорусские мещане да семинаристы, и проговорил густым басом: «Нет».

– Кого же вам угодно видеть? – спросил я, удивленный странным ответом.

– Я просто так зашел, – отвечал гость, шагая по комнате и закручивая свои косицы.

– Позвольте же узнать, с кем я имею честь говорить?

При этом я назвал свою фамилию и сказал, что я родственник Якова Ивановича.

– А я так просто, – отвечал гость и опять взялся за свою книгу.

Тем разговор и покончился. Оставив всякую попытку разрешить для себя появление этой личности, я закурил папироску и лег с книгой в руках на свою постель. Когда придешь из-под солнечного припека в чистую и прохладную комнату, где нет докучных мух, а есть опрятная постель, необыкновенно легко засыпается. В этот раз я дознал это на опыте и не заметил, как книга выскользнула у меня из рук. Сквозь сладкий сон, которым спят люди, полные надежд и упований, я слышал, как Челновский читал мальчику нотацию, к которым тот давно привык и не обращал на них никакого внимания. Полное же мое пробуждение совершилось, только когда мой родственник вошел в кабинет и крикнул:

– А! Овцебык! Какими судьбами?

– Пришел, – ответил гость на оригинальное приветствие.

– Знаю, что пришел, да откуда же? где побывал?

– Отсюда не видать.

– Эко шут какой! А давно припожаловать изволил? – спросил снова своего гостя Яков Иванович, входя в спальню. – Э! да ты спишь, – сказал он, обращаясь ко мне. – Вставай, брат, я тебе зверя покажу.

– Какого зверя? – спросил я, еще не совсем возвратясь к тому, что называют бдением, от того, что называется сном.

Челновский ничего мне не ответил, но снял сюртук и накинул свою блузу, что было делом одной минуты, вышел в кабинет и, таща оттуда за руку моего незнакомца, комически поклонился и, показывая рукою на упирившегося гостя, проговорил:

– Честь имею рекомендовать – Овцебык. Питается травой, а при недостатке ее может есть лишай.

Я встал и протянул руку Овцебыку, который в продолжение всей рекомендации спокойно смотрел на густую ветку сирени, закрывавшей отворенное окно нашей спальни.

– Я вам уже рекомендовался, – сказал я Овцебыку.

– Слышал я это, – отвечал Овцебык, – а я кутейник Василий Богословский.

– Как, рекомендовался? – спросил Яков Иванович. – Разве вы уже виделись?

– Да, я застал здесь Василья... я не имею чести знать, как по батюшке?

- Петров был, – отвечал Богословский.
- Это он был, а теперь зови его просто «Овцебык».
- Мне все равно, как ни зовите.
- Э, нет, брат! Ты Овцебык есть, так тебе Овцебыком и быть.

Сели за стол. Василий Петрович налил себе рюмку водки, вылил ее в рот, подержав несколько секунд за скулою, и, проглотив ее, значительным образом взглянул на стоящую перед ним тарелку супу.

– А студень нет разве? – спросил он хозяина.

– Нет, брат, нету. Не ждали сегодня гостя дорогого, – отвечал Челновский, – и не приготовили.

– Сами могли есть.

– Мы и суп можем есть.

– Соусники! – прибавил Овцебык. – И гуся нет? – спросил он с еще большим удивлением, когда подали зразы.

– И гуся нет, – отвечал ему хозяин, улыбаясь своей ласковой улыбкой. – Завтра будет тебе и студень, и гусь, и каша с гусиным салом.

– Завтра – не сегодня.

– Ну что ж делать? А ты, верно, давно не ел гуся?

Овцебык посмотрел на него пристально и с выражением какого-то удовольствия проговорил:

– А ты спроси лучше, давно ли я что-нибудь ел.

– Ну-у!

– Четвертого дня вечером калач в Севске съел.

– В Севске?

Овцебык утвердительно махнул рукой.

– А ты чего был в Севске?

– Проходом шел.

– Да где же это тебя носило?

Овцебык остановил вилку, которою таскал в рот огромные куски зраз, опять пристально посмотрел на Челновского и, не отвечая на его вопрос, сказал:

– Аль ты нынче табак нюхал?

– Как табак нюхал?

Челновский и я расхохотались странному вопросу.

– Так.

– Да говори, милый зверь!

– Что язык-то у тебя свербит нынче.

– Да как же не спросить? Ведь целый месяц пропадал.

– Пропадал? – повторил Овцебык. – Я, брат, не пропаду, а пропаду, так не задаром.

– Проповедничество нас заело! – отозвался ко мне Челновский. – «Охота смертная, а участь горькая!» На торжищах и стогах проповедовать в наш просвещенный век не дозволяется; в попы мы не можем идти, чтобы не прикоснуться жене, аки сосуду змеину, а в монахи идти тоже что-то мешает. Но уж что именно такое тут мешает – про то не знаю.

– И хорошо, что не знаешь.

– Отчего же хорошо? Чем больше знать, тем лучше.

– Поди сам в монахи, так и узнаешь.

– А ты не хочешь послужить человечеству своим опытом?

– Чужой опыт, брат, – пустое дело, – сказал оригинал, встав из-за стола и обтирая себе салфеткой целое лицо, покрывшееся потом от усердствования за обедом. Положив салфетку, он отправился в переднюю и достал там из своего пальто маленькую глиняную трубочку с

черным обгрызанным чубучком и ситцевый кисетик; набил трубку, кисет положил в карман штанов и направился снова к передней.

– Кури здесь, – сказал ему Челновский.

– Расчихаетесь неравно. Головы заболят.

Овцебык стоял и улыбался. Я никогда не встречал человека, который бы так улыбался, как Богословский. Лицо его оставалось совершенно спокойным; ни одна черта не двигалась, и в глазах оставалось глубокое, грустное выражение, а между тем вы видели, что эти глаза смеются, и смеются самым добрым смехом, каким русский человек иногда потешается над самим собою и над своею долею.

– Новый Диоген! – сказал Челновский вслед вышедшему Овцебыку, – все людей евангельских ищет.

Мы закурили сигары и, улегшись на своих кроватях, толковали о различных человеческих странностях, приходивших нам в голову по поводу странностей Василия Петровича. Через четверть часа вошел и Василий Петрович. Он поставил свою трубочку на пол у печки, сел в ноги у Челновского и, почесав правую рукою левое плечо, сказал вполголоса:

– Кондиций искал.

– Когда? – спросил его Челновский.

– Да вот теперь.

– У кого ж ты искал?

– По дороге.

Челновский опять засмеялся; но Овцебык не обращал на это никакого внимания.

– Ну, и что ж Бог дал? – спросил его Челновский.

– Нет ни шиша.

– Да шутина ты этакой! Кто же ищет кондиций по дороге?

– Я заходил в помещичьи дома, там спрашивал, – серьезно продолжал Овцебык.

– Ну и что же?

– Не берут.

– Да, разумеется, и не возьмут.

Овцебык посмотрел на Челновского своим пристальным взглядом и тем же ровным тоном спросил:

– Почему же это и не возьмут?

– Потому, что с ветру пришлого человека, без рекомендации, не берут в дом.

– Я аттестат показывал.

– А в нем написано: «поведения довольно изрядного»?

– Ну так что ж? Я, брат, скажу тебе, что это все не оттого, а оттого что...

– Ты – Овцебык, – подсказал Челновский.

– Да, Овцебык, пожалуй.

– Что ж ты теперь думаешь делать?

– Думаю вот еще трубочку покурить, – отвечал Василий Петрович, вставая и снова принимаясь за свой чубучок.

– Да кури здесь.

– Не надо.

– Кури: ведь окно открыто.

– Не надо.

– Да что тебе, первый раз, что ли, курить у меня свой дубек?

– Им будет неприятно, – сказал Овцебык, показывая на меня.

– Пожалуйста, курите, Василий Петрович; я – человек привыкший; для меня ни один дубек ничего не значит.

– Да ведь у меня тот дубек, от которого черт убежал, – отвечал Овцебык, налегая на букву *у* в слове дубек, и в его добрых глазах опять мелькнула его симпатическая улыбка.

– Ну, а я не убегаю.

– Значит, вы сильнее черта.

– На этот случай.

– Он о силе черта имеет самое высокое мнение, – сказал Челновский.

– Одна баба, брат, только злей черта.

Василий Петрович напихал махоркою свою трубочку и, выпустив из рта тоненькую струйку едкого дыма, осадил пальцем горящий табак и сказал:

– Задачки стану переписывать.

– Какие задачки? – спросил Челновский, приставляя ладонь к своему уху.

– Задачки, задачки семинарские стану, мол, пока переписывать. Ну, тетрадки ученические, не понимаешь, что ли? – пояснил он.

– Понимаю теперь. Плохая, брат, работа.

– Все равно.

– Два целковых в месяц как раз заработаешь.

– Это мне все едино.

– Ну, а дальше что?

– Кондиции мне отыщи.

– Опять в деревню?

– В деревню лучше.

– И опять через неделю уйдешь. Ты знаешь, что он сделал прошлой весной, – сказал, обращаясь ко мне, Челновский. – Поставил я его на место, сто двадцать рублей в год платы, на всем готовом, с тем чтобы он приготовил ко второму классу гимназии одного мальчишка. Справили ему все, что нужно, снарядили доброго молодца. Ну, думаю, на месте наш Овцебык! А он через месяц опять перед нами как вырос. Еще за свою науку и белье там оставил.

– Ну так что же, если нельзя было иначе, – сказал, нахмурясь, Овцебык и встал со стула.

– А спроси его, отчего нельзя? – сказал Челновский, снова обращаясь ко мне. – Оттого, что за волосенки пощипать мальчишку не позволили.

– Еще соври! – пробормотал Овцебык.

– Ну, а как же было?

– Так было, что иначе нельзя было.

Овцебык остановился передо мною и, подумав с минутку, сказал:

– Вовсе особое дело было!

– Садитесь, Василий Петрович, – сказал я, подвигаясь на кровати.

– Нет, не надо. Вовсе особое дело, – начал он снова. – Мальчишке пятнадцатый год, а между тем уж он совсем дворянин, то есть бесстыжая шельма.

– Вот у нас как! – пошутил Челновский.

– Да, – продолжал Овцебык. – Повар у них был Егор, молодой парень. Женился он, взял дьячковскую дочь из нашего духовенного нищенства. Барчонок уж всему был обучен, и давай к ней лязгаться. А бабенка молодая, не из таковских; пожаловалась мужу, а муж – барыне. Та там что-то поговорила сыну, а он опять за свое. Так в другой раз, в третий – повар опять к барыне, что жене отбою нет от барчука, – опять ничего. Взяла меня досада. «Послушайте, – говорю ему, – если вы еще раз защипнете Аленку, так я вас тресну». Покраснел от досады; выиграла благородная кровь, знаете; полетел к мамаше, а я за ним. Гляжу: она сидит в креслах, и тоже вся красная; а сын по-французски ей жалобу на меня расписывает. Как увидела меня, сейчас взяла его за руку и улыбается, черт знает чего. «Полно, говорит, мой друг. Василью Петровичу, верно, что-нибудь показалось; он шутит, и ты докажешь ему, что он ошибается». А сама, вижу, косится на меня. Малец мой пошел, а она, вместо того чтобы поговорить со мною о

сыне, говорит: «Какой вы рыцарь, Василий Петрович! Уж не сердечная ли у вас зазнобушка?» Ну, а я этих вещей терпеть не могу, – сказал Овцебык, энергически махнув рукою. – Не могу я этого слушать, – повторил он еще раз, возвысив голос, и снова зашагал.

– Ну, вы тут же и оставили этот дом?

– Нет, через полтора месяца.

– И жили в ладу?

– Ну, я ни с кем не говорил.

– А за столом?

– Я с конторщиком обедал.

– Как с конторщиком?

– Просто сказать, на застольной. Да это мне ничего. Меня ведь обидеть нельзя.

– Как нельзя?

– А разумеется, нельзя... ну, да что об этом толковать... Только сижу я раз после обеда под окном, Тацита читаю, а в людской, слышу, кто-то кричит. Что кричит – не разберу, а голос Аленкин. Барчук, думаю, верно, забавляется. Встал, подхожу к людской. Слышу, Аленка плачет и сквозь слезы кричит: «стыдно вам», «Бога вы не боитесь» и разное такое. Смотрю, Аленка стоит на чердаке над приставной лестницей, а малец мой под лестницей, так что бабе никак нельзя сойти. Стыдно... ну, знаете, как они ходят... просто. А он еще ее поддразнивает: «лезь, говорит, а то отставлю лестницу». Зло меня такое взяло, что я вошел в сени, да и дал ему затрещину.

– Такую, что у него из уха и из носа кровь хлынула, – засмеявшись, подсказал Челновский.

– Какая там на его долю выросла.

– Что же вам мать?

– Да я ее после не глядел. Я из людской прямо в Курск пошел.

– Сколько же это верст?

– Сто семьдесят; да хоть бы и тысяча семьсот, так это все равно.

Если бы вы видели в эту минуту Овцебыка, то не усомнились бы, что ему в самом деле все равно, сколько верст ни пройти и кому ни дать затрещину, если, по его соображениям, затрещину эту дать следует.

Глава вторая

Начался знойный июнь. Василий Петрович являлся к нам аккуратно всякий день часов в двенадцать, снимал свой коленкорный галстук, подтяжки и, сказав обоим нам «здравствуйте», усаживался за своих классиков. Так проходило время до обеда; после же обеда он закуривал трубочку и, став у окна, обыкновенно спрашивал: «что ж, кондиции?» Прошел месяц с того дня, как Овцебык каждый день повторял этот вопрос Челновскому, и целый месяц всякий раз слышал один и тот же самый неутешительный ответ. Места даже и в виду не было. Василия Петровича, по-видимому, это, однако, нисколько не обходило. Он кушал с прекрасным аппетитом и был постоянно в своем неизменном настроении духа. Только раз или два я видел его раздраженнее обыкновенного; но и эта раздражительность не имела никакого соотношения с положением дел Василия Петровича. Она происходила от двух совершенно сторонних обстоятельств. Раз он встретился с бабой, которая рыдала впричет, и спросил ее своим басом: «Чего, дура, реवेशь?» Баба сначала испугалась, а потом рассказала, что у нее изловили сына и завтра ведут его в рекрутский прием. Василий Петрович вспомнил, что делопроизводитель в рекрутском присутствии был его товарищем по семинарии, сходил к нему рано утром и возвратился необыкновенно расстроенным. Ходатайство его оказалось несостоятельным. В другой раз партию малолетних еврейских рекрутиков перегоняли через город. В ту пору наборы были частые. Василий Петрович, закусив верхнюю губу и подперши фертном руки, стоял под окном и внимательно смотрел на обоз провозимых рекрут. Обывательские подводки медленно тянулись; телеги, прыгая по губернской мостовой из стороны в сторону, качали головки детей, одетых в серые шинели из солдатского сукна. Большие серые шапки, надвигаясь им на глаза, придавали ужасно печальный вид красивым личикам и умным глазенкам, с тоскою и вместе с детским любопытством смотревшим на новый город и на толпы мещанских мальчишек, бежавших вприпрыжку за телегами. Сзади шли две кухарки.

– Тоже, чай, матери где-нибудь есть? – сказала, поровнявшись с нашим окном, одна рослая рябая кухарка.

– Гляди, может, и есть, – отвечала другая, запустив локти под рукава и скребя ногтями свои руки.

– И ведь им небось, хоть и жиденята, а жалко их?

– Да ведь что ж, матка, делать!

– Разумеется, а только по материнству-то?

– Да, по материнству, – конечно... своя утроба... А нельзя...

– Конечно.

– Дуры! – крикнул им Василий Петрович.

Женщины остановились, взглянули на него с удивлением, обе враз сказали: «Чего, гладкий пес, лаешься», и пошли дальше.

Мне захотелось пойти посмотреть, как будут ссаживать этих несчастных детей у гарнизонной казармы.

– Пойдемте, Василий Петрович, к казармам, – позвал я Богословского.

– Зачем?

– Посмотрим, что там с ними будут делать.

Василий Петрович ничего не отвечал; но когда я взялся за шляпу, он тоже встал и пошел вместе со мною. Гарнизонные казармы, куда привезли переходящую партию еврейских рекрутиков, были от нас довольно далеко. Когда мы подошли, телеги уже были пусты и дети стояли правильной шеренгой в два ряда. Партионный офицер с унтер-офицером делал им проверку. Вокруг шеренги толпились зрители. Около одной телеги тоже стояло несколько дам и священник с бронзовым крестом на владимирской ленте. Мы подошли к этой телеге. На ней

сидел один больной мальчик лет девяти и жадно ел пирог с творогом; другой лежал, укрывшись шинелью, и не обращал ни на что внимания; по его покрасневшему лицу и по глазам, горевшим болезненным светом, можно было полагать, что у него лихорадка, а может быть, тиф.

– Ты болен? – спросила одна дама мальчика, глотавшего куски непережеванного пирога.

– А?

– Болен ты?

Мальчик замотал головой.

– Ты не болен? – опять спросила дама.

Мальчик снова замотал головой.

– Он не конбран-па – не понимает, – заметил священник и сейчас же сам спросил: – Ты уж крещеный?

Ребенок задумался, как бы припоминая что-то знакомое в сделанном ему вопросе, и, опять махнув головой, сказал: «Не, не».

– Какой хорошенький! – проговорила дама, взяв ребенка за подбородок и приподняв сверху его милостивое личико с черными глазками.

– Где твоя мать? – неожиданно спросил Овцебык, дернув слегка ребенка за шинель.

Дитя вздрогнуло, взглянуло на Василия Петровича, потом на окружающих, потом на ундера и опять на Василия Петровича.

– Мать, мать где? – повторил Овцебык.

– Мама?

– Да, мама, мама?

– Мама... – ребенок махнул рукой вдаль.

– Дома?

Рекрут подумал и кивнул головою в знак согласия.

– Памятует еще, – вставил священник и спросил: – Брудеры есть?

Дитя сделало едва заметный отрицательный знак.

– Врешь, врешь, один не берут в рекрут. Врать ни хт гут, нейн, – продолжал священник, думая употреблением именительных падежей придать более понятности своему разговору.

– Я бродягес, – проговорил мальчик.

– Что-о?

– Бродягес, – яснее высказал ребенок.

– А, бродягес! Это по-русски значит – он бродяга, за бродяжество отдан! читал я этот закон о них, о еврейских младенцах, читал... Бродяжество положено искоренить. Ну, это и правильно: оседлый сиди дома, а бродяжке все равно бродить, и он примет святое крещение, и исправится, и в люди выйдет, – говорил священник; а тем временем переключка окончилась, и ундер, взяв под уздцы лошадь, дернул телегу с больными к казарменному крыльцу, по которому длиною вереницею и поползли малолетние рекруты, тянувшие за собою сумочки и полы неуклюжих шинелей. Я стал искать глазами моего Овцебыка; но его не было. Не было его и к ночи, и на другой, и на третий день к обеду. Послали мальчика на квартиру Василия Петровича, где он жил с семинаристами, – и там его не бывало. Маленькие семинаристки, с которыми жил Овцебык, давно привыкли не видеть Василия Петровича по целым неделям и не обращали никакого внимания на его исчезновение. Челновский тоже нимало не беспокоился.

– Придет, – говорил он, – бродит где-нибудь или спит во ржи, и ничего больше.

Нужно знать, что Василий Петрович, по собственному его выражению, очень любил «логовища», и логовищ этих у него было довольно много. Кровать с голыми досками, стоявшая на его квартире, никогда долго не покоила его тела. Только изредка, заходя домой, он улаживался на нее, делал мальчикам неожиданный экзамен с каким-нибудь курьезным вопросом в конце каждого испытания, и затем кровать эта опять стояла пустою. У нас он спал редко, и обыкновенно или на крыльце, или если с вечера заходил горячий разговор, не dokonченный

к ночи, то Овцебык ложился на полу между нашими кроватями, не позволяя себе подостлать ничего, кроме реденького половика. Утром рано он уходил или в поле, или на кладбище. На кладбище он бывал всякий день. Придет, бывало, уляжется на зеленой могиле, разложит перед собою книгу какого-нибудь латинского писателя и читает, а то свернет книгу, подложит ее под голову да смотрит на небо.

– Вы – жилец могил, Василий Петрович! – говорили ему знакомые Челновского барышни.

– Глупости говорите, – отвечал Василий Петрович.

– Вы – упырь, – говорил ему бледный уездный учитель, прослывший за литератора с тех пор, как в губернских ведомостях напечатали его ученую статью.

– Глупости сочиняете, – отвечал Овцебык и ему и опять отправлялся к своим покойникам.

Чудачества Василия Петровича приучили весь небольшой кружок его знакомых не удивляться ни одной его выходке, а потому никто и не удивился его быстрому и неожиданному исчезновению. Но он должен же был возвратиться. Никто и не сомневался, что он возвратится: вопрос был только в том, куда он скрылся? где он скитается? что его так раздражало и чем он врачует себя от этих раздражений? – это были вопросы, разрешение которых представляло для моей скуки довольно большой интерес.

Глава третья

Прошло еще три дня. Погода стояла прекрасная. Могучая и щедрая природа наша жила полною своею жизнью. Было новолунье. После жаркого дня наступила светлая, роскошная ночь. В такие ночи курские жители наслаждаются своими курскими соловьями: соловьи свищут им напролет целые ночи, а они напролет целые ночи их слушают в своем большом и густом городском саду. Все, бывало, ходят тихо и молчаливо, и лишь только одни молодые учителя жарко спорят «о чувствах высокого и прекрасного» или о «дилетантизме в науке». Жарки бывали эти громкие споры. Даже в самые отдаленные куртины старого сада, бывало, доносятся возгласы: «это дилемма!», «позвольте!», «а priori рассуждать нельзя», «идите индуктивным способом» и т. п. Тогда у нас еще спорили о подобных предметах. Теперь таких споров не слышно. «Что ни время, то и птицы, что ни птицы, то и песни». Теперешнее русское среднее общество отнюдь не похоже на то, с которым я жил в Курске в эпоху моего рассказа. Вопросы, занимающие нас теперь, тогда еще не поднимались, и во множестве голов свободно и властно господствовал романтизм, господствовал, не предчувствуя приближения новых направлений, которые заявят свои права на русского человека и которые русский человек, известного развития, примет, как он принимает все, то есть не совсем искренно, но горячо, с аффектацией и с пересолом. Тогда еще мужчины не стыдились говорить о чувствах высокого и прекрасного, а женщины любили идеальных героев, слушали соловьев, свиставших в густых кустах цветущей сирени, и всласть заслушивались турухтанов, таскавших их под руку по темным аллеям и разрешавших с ними мудрые задачи святой любви.

Мы пробыли с Челновским в саду до двенадцати часов, много хорошего слышали и о высоком и о святой любви и с удовольствием улеглись в наши постели. Огонь у нас был уже погашен; но мы еще не спали и лежа сообщали друг другу свои вечерние впечатления. Ночь была во всем своем величии, и соловей под самым окном громко шелкал и заливался своею страстною песнью. Мы уже собирались пожелать друг другу покойной ночи, как вдруг из-за забора, отделявшего от улицы садик, в который выходило окно нашей спальни, кто-то крикнул: «Ребята!»

– Это – Овцебык, – сказал Челновский, быстро подняв голову с подушки.

Мне показалось, что он ошибся.

– Нет, это Овцебык, – настаивал Челновский и, встав с постели, высунулся в окно. Все было тихо.

– Ребята! – опять крикнул под забором тот же самый голос.

– Овцебык! – окликнул Челновский.

– Я.

– Иди же.

– Ворота заперты.

– Постучись.

– Зачем будить. Я только хотел узнать, не спите ли?

За забором послышалось несколько тяжелых движений, и вслед за тем Василий Петрович, как куль с землею, упал в садик.

– Экой чертушко! – сказал Челновский, смеясь и смотря, как Василий Петрович поднялся с земли и пробирался к окну сквозь густые кусты акации и сирени.

– Здравствуйте! – весело проговорил Овцебык, показавшись в окне.

Челновский отставил от окна столик с туалетными принадлежностями, и Василий Петрович перенес сначала одну из своих ног, потом сел верхом на подоконник, потом перенес другую ногу и наконец совсем явился в комнате.

– Ух! уморился, – проговорил он, снял свое пальто и подал нам руки.

- Сколько верст отмахал? – спросил его Челновский, ложась снова в свою постель.
- В Погодове был.
- У дворника?
- У дворника.
- Есть будешь?
- Если есть что, так буду.
- Побуди мальчика!
- Ну его, сопатого!
- Отчего?
- Пусть спит.
- Да что ты юродствуешь? – Челновский громко крикнул: – Моисей!
- Не буди, говорю тебе: пусть спит.
- Ну, а я не найду, чем тебя кормить.
- И не надо.
- Да ведь ты есть хочешь?
- Не надо, говорю; я вот что, братцы...
- Что, братец?
- Я к вам пришел проститься.

Василий Петрович сел на кровать к Челновскому и взял его дружески за колено.

- Как проститься?
- Не знаешь, как прощаются?
- Куда ж это ты собрался?
- Пойду, братцы, далеко.

Челновский встал и зажег свечу. Василий Петрович сидел, и на лице его выражалось спокойствие и даже счастье.

- Дай-ка мне на тебя посмотреть, – сказал Челновский.
- Посмотри, посмотри, – отвечал Овцебык, улыбаясь своей нескладной улыбкой.
- Что же твой дворник делает?
- Сено и овес продает.
- Потолковали с ним про неправды бессудные, про обиды безмерные?
- Потолковали.
- Что ж, это он, что ли, тебе такой поход насоветовал?
- Нет, я сам надумал.
- В какие ж ты отправишься Палестины?
- В пермские.
- В пермские?
- Да, чего удивился?
- Что ты забыл там?

Василий Петрович встал, прошелся по комнате, закрутил свои виски и проговорил про себя: «Это уж мое дело».

- Эй, Вася, дуришь ты, – сказал Челновский.

Овцебык молчал, и мы молчали.

Это было тяжелое молчание. И я и Челновский поняли, что перед нами стоит агитатор – агитатор искренний и бесстрашный. И он понял, что его понимают, и вдруг вскрикнул:

– Что ж мне делать! Сердце мое не терпит этой цивилизации, этой нобилизации, этой стерворизации!.. – И он крепко ударил себя кулаком в грудь и тяжело опустился на кресло.

- Да что ж ты поделаешь?
- О, когда б я знал, что с этим можно сделать! О, когда б это знать!.. Я на ощупь иду. Все замолчали.

- Можно курить? – спросил Богословский после продолжительной паузы.
- Кури, пожалуйста.
- Я здесь с вами на полу прилягу – это будет моя вечеря.
- И отлично.
- Поговорим, – представь... молчу-молчу, и вдруг мне приходит охота говорить.
- Ты чем-нибудь расстроился.
- Ребяенок мне жалко, – сказал он и сплюнул через губу.
- Каких?
- Ну, моих, кутейников.
- Чего ж тебе их жаль?
- Изгадятся они без меня.
- Ты сам их гадишь.
- Ври.
- Конечно: их учат на одно, а ты их переучиваешь на другое.
- Ну так что ж?
- Ничего и не будет.

Вышла пауза.

– А я вот что скажу тебе, – проговорил Челновский, – женился бы ты, взял бы к себе старуху-мать да был бы добрым попом – отличное бы дело сделал.

- Ты мне этого не говори! Не говори ты мне этого!
- Бог с тобой, – отвечал Челновский, махнув рукой.

Василий Петрович опять заходил по комнате и, остановясь перед окном, продекламировал:

Стой один перед грозой,
Не призывай к себе жены.

– И стихи выучил, – сказал Челновский, улыбаясь и показывая мне на Василья Петровича.

- Умные только, – отвечал тот, не отходя от окна.
- Таких умных стихов немало есть, Василий Петрович, – сказал я.
- Все – дребедень.
- А женщины – все дрянь?
- Дрянь.
- А Лидочка?

– Что же Лидочка? – спросил Василий Петрович, когда ему напомнили имя очень милой и необыкновенно несчастной девушки – единственного женского существа в городе, которое оказывало Василью Петровичу всяческое внимание.

– Вам не будет о ней скучно?

– Что это вы говорите? – спросил Овцебык, расширив свои глаза и пристально уставив их на меня.

- Так говорю. Она – хорошая девушка.
- Ну так что ж, что хорошая?

Василий Петрович помолчал, выколотил о подоконник свою трубку и задумался.

– Паршивые! – проговорил он, закуривая вторую трубку.

Челновский и я рассмеялись.

- Чего вас разбирает? – спросил Василий Петрович.
- Это дамы, что ли, у тебя паршивые?
- Дамы! Не дамы, а жида.
- К чему ж ты тут жидов вспомнил?

– А черт их знает, чего они помнятся: у меня мать, да и у них у каждого есть по матери, и все знают, – отозвался Василий Петрович и, задув свечку, с трубкою в зубах повалился на половой коврик.

– Это ты еще не забыл?

– Я, брат, внимателен.

Василий Петрович тяжело вздохнул.

– Подохнут, сопатые, дорбгой, – сказал он, помолчав.

– Пожалуй.

– И лучше.

– Экое у него и сострадание-то мудреное, – сказал Челновский.

– Нет, это у вас все мудреное. У меня, брат, все простое, мужицкое. Я ваших чох-мох не понимаю. У вас все такое в голове, чтоб и овцы были целы, и волки сыты, а этого нельзя. Этак не бывает.

– Как же, по-твоему, будет хорошо?

– А хорошо будет, как Бог даст.

– Бог Сам ничего в людских делах не делает.

– Понятно, что все люди будут делать.

– Когда они станут людьми, – сказал Челновский.

– Эх вы, умники! Посмотришь на вас, будто и в самом деле вы что знаете, а ничего вы не знаете, – энергически воскликнул Василий Петрович. – Дальше своего дворянского носа вам ничего не видеть, да и не увидеть. Вы бы в моей шкуре жили с людьми да с мое ходили, так и узнали бы, что нечего нюни-то нюнить. Ишь ты, черт этакой! и у него тоже дворянские привычки, – переломил неожиданно Овцебык и встал.

– У кого это дворянские привычки?

– У собаки, у Боксы. У кого же еще?

– Какие ж это у ней дворянские привычки? – спросил Челновский.

– Дверей не затворяет.

Мы тут только заметили, что через комнату действительно тянул сквозной ветер.

Василий Петрович встал, затворил дверь из сеней и запер ее на крючок.

– Спасибо, – сказал ему Челновский, когда он возвратился и снова растянулся на коврике.

Василий Петрович ничего не отвечал, набил еще трубочку и, закурив ее, неожиданно спросил:

– Что в книжках брешут?

– В которых?

– Ну, в ваших журналах?

– О разных вещах пишут, всего не расскажешь.

– О прогрессе все небось?

– И о прогрессе.

– А о народе?

– И о народе.

– О, горе сим мытарям и фарисеям! – вздохнув, произнес Овцебык. – Болты болтают, а сами ничего не знают.

– Отчего ты, Василий Петрович, думаешь, что уж кроме тебя никто ничего не знает о народе? Ведь это, брат, самолюбие в тебе говорит.

– Нет, не самолюбие. А вижу я, что подло все занимаются этим делом. Все на язычничестве выезжают, а на дело – никого. Нет, ты дело делай, а не брешь. А то любовь-то за обедом разгорается. Повести пишут! рассказы! – прибавил он, помолчав, – эх, язычники! фарисеи проклятые! А сами небось не тронутся. Толконном-то боятся подавиться. Да и хорошо, что не трогаются, – прибавил он, помолчав немного.

– Отчего же это хорошо?

– Да все оттого ж, говорю, что толконном подавятся, доведется их в загорбок бить, чтобы прокашлянули, а они заголосят: «бьют нас!» Таким разве поверят! А ты, – продолжал он, сев на своей постели, – надень эту же замашную рубашку, да чтобы она тебе бока не мусолила; ешь тюрю, да не морщися, да не ленись свинью во двор загнать: вот тогда тебе и поверят. Душу свою клади, да так, чтоб видели, какая у тебя душа, а не побрехеньками забавляй. Людие мои, людие мои! что бы я не сотворил вам?.. Людие мои, людие мои! что бы я вам не отдал? – Василий Петрович задумался, потом поднялся во весь свой рост и, протянув руки ко мне и к Челновскому, сказал: – Ребята! смутные дни настают, смутные. Часу медлить нельзя, а то придут лжепророки, и я голос их слышу проклятый и ненавистный. Во имя народа будут уловлять и губить вас. Не смущайтесь сими зовущими, и если силы воловией в хребтах своих не почувствуете, ярма на себя не вскладывайте. Не в числе людей дело. Пятью пальцами блохи не изловишь, а одним можно. Я от вас, как и от других, большого проку не жду. Это – не ваша вина, вы жидки на густое дело. Но прошу вас, заповедь одну мою братскую соблюдайте: не брешите вы никогда на ветер! Эй, право, вред в этом великий есть! Эй, вред! Ног не подставляйте, и будет с вас, а нам, вот таким Овцебыкам, – сказал он, ударив себя в грудь, – нам этого мало. На нас кара небесная падет, коли этим удовольствуемся. «Мы свои своим, и свои нас познают».

Долго и много говорил Василий Петрович. Он никогда так много не говорил и так ясно не высказывался. На небе уже брезжилась зорька, и в комнате заметно серело, а Василий Петрович все еще не умолк. Коренастая фигура его делала энергические движения, и сквозь прорехи старой ситцевой рубашки было заметно, как высоко поднималась его мохнатая грудь.

Мы заснули в четыре часа, а проснулись в девять. Овцебыка уже не было, и с тех пор я не видал его ровно три года. Чудак в то же утро ушел в страны, рекомендованные ему его приятелем, содержанием постоялого двора в Погодове.

Глава четвертая

В нашей губернии есть довольно много монастырей, которые поставлены в лесах и называются пустынями. Моя бабушка была очень религиозная старушка. Женщина старого века, она питала неодолимую страсть к путешествиям по этим пустыням. Она на память знала не только историю каждого из этих уединенных монастырей, но знала все монастырские легенды, историю икон, чудотворения, какие там оказывали, знала монастырские средства, ризницу и все прочее. Это был ветхий, но живой указатель к святыням нашего края. В монастырях тоже все знали старушку и принимали ее необыкновенно радушно, несмотря на то, что она никогда не делала никаких очень ценных приношений, кроме воздухов, вышиваньем которых занималась целую осень и зиму, когда погода не позволяла ей путешествовать. В гостиницах П-ской и Л-ской пустыни к Петрову дню и Успению всегда оставляли для нее две комнаты. Мели их, чистили и никому не отдавали даже под самый день праздника.

– Александра Васильевна приедет, – говорил всем отец казначей, – не могу отдать ее комнат.

И действительно, бабушка моя приезжала.

Раз как-то она совсем запоздала, а народу наехало на праздник в пустынь множество. Ночью, перед заутреней, приехал в Л-скую пустынь какой-то генерал и требовал себе лучшего номера в гостинице. Отец казначей был в затруднительном положении. Первый раз моя бабушка пропускала престольный праздник пустынного храма. «Умерла, видно, старуха», – подумал он, но, взглянув на свои луковицеобразные часы и увидав, что до заутрени еще остается два часа, он все-таки не отдал ее комнат генералу и спокойно отправился в келью читать свою полунощницу. Прогудел три раза большой монастырский колокол; в церкви замелькала горящая свечечка, с которою служка суетился перед иконостасом, зажигая ставники. Народ, позевывая и крестя рты, толпами повалил в церковь, и моя милая старушка, в чистом дикенском платьице и в белом как снег чепце московского фасона двенадцатого года, входила уже в северные двери, набожно крестясь и шепча: «Заутра услыши глас мой, Царю мой и Боже мой!» Когда иеродиакон возгласил свое торжественное «восстаните!», бабушка уже была в темном уголке и клала земные поклоны за души усопших. Отец казначей, подпуская богомольцев ко кресту после ранней обедни, нимало не удивился, увидев старуху, и, подав ей из-под рясы просфору, очень спокойно сказал: «Здравствуй, мать Александра!» Бабушку в пустынях только молодые послушники звали Александрой Васильевной, а старики иначе ей не говорили, как «мать Александра». Богомольная старушка наша, однако, никогда не была ханжою и не корчила из себя монахини. Несмотря на свои пятьдесят лет, она всегда была одета чисто, как колпик. Свеженькое дикое или зеленое ситцевое платьице, высокий тюлевый чепчик с дикими лентами и редикюль с вышитой собачкой – все было свежо и наивно-кокетливо у доброй старушки. Ездил она в пустыни в деревенской безрессорной кибитке на паре старых рыжих кобылок очень хорошей породы. Одну из них (мать) звали Щеголихой, а другую (дочь) – Нежданкою. Последняя получила свое название оттого, что явилась на свет совершенно неожиданно. Обе эти лошадки у бабушки были необыкновенно смиренны, резвы и добронравны, и путешествие на них, с елейной старушкой и с ее добродушнейшим старичком-кучером Ильею Васильевичем, составляло для меня во все годы моего детства наивысочайшее наслаждение.

Я был адъютантом старушки с самого раннего возраста. Еще шести лет я с ней отправился в первый раз в Л-скую пустынь на рыжих ее кобылках и с тех пор сопровождал ее каждый раз, пока меня десяти лет отвезли в губернскую гимназию. Поездка по монастырям имела для меня очень много привлекательного. Старушка умела необыкновенно опозитизировывать свои путешествия. Едем, бывало, рысцой; кругом так хорошо: воздух ароматный; галки прячутся в зеленях; люди встречаются, кланяются нам, и мы им кланяемся. По лесу, бывало, идем пеш-

ком; бабушка мне рассказывает о двенадцатом годе, о можайских дворянах, о своем побеге из Москвы, о том, как гордо подходили французы, и о том, как потом безжалостно морозили и били французов. А тут постоялый двор, знакомые дворники, бабы с толстыми брухами и с фартуками, подвязанными выше груди, просторные выгоны, по которым можно бегать, – все это пленяло меня и имело для меня обаятельную прелесть. Бабушка приметя в горенке за свой туалет, а я отправляюсь под прохладный тенистый навес к Илье Васильевичу, ложусь возле него на вязке сена и слушаю рассказ о том, как Илья возил в Орле императора Александра Павловича; узнаю, какое это было опасное дело, как много было экипажей и каким опасностям подвергался экипаж императора, когда при съезде с горы к Орлику у хлоповского кучера лопнули вожжи, и как тут один он, Илья Васильич, своею находчивостью спас жизнь императора, собиравшегося уже выпрыгнуть из коляски. Феакийцы не слушали так Одиссея, как слушал я кучера Илью Васильевича. В самых же пустынях у меня были приятели. Меня очень любили два старичка: игумен П-ской пустыни и отец казначей Л-ской пустыни. Первый – высокий бледный старик с добрым, но строгим лицом – не пользовался, однако, моею привязанностью; но зато отца казначея я любил от всего моего маленького сердца. Это было добродушнейшее создание в подлунном мире, о котором, мимоходом сказать, он ничего не ведал, и в этом-то его неведении, как мне теперь кажется, и лежала основа безграничной любви этого старика к человечеству.

Но кроме этих, так сказать, аристократических знакомств с пустынноначальниками у меня были демократические связи с пустынными плебеями: я очень любил послушников – этот странный класс, в котором обыкновенно преобладают две страсти: леность и самолюбие, но иногда встречается запас веселой беспечности и чисто русского равнодушия к самому себе.

– Как вы почувствовали призвание поступить в монастырь? – спросишь, бывало, кого-нибудь из послушников.

– Нет, – отвечает он, – призвания не было, а я так поступил.

– А вы примете монашество?

– Беспременно.

Выйти из монастыря послушнику кажется безусловно невозможным, хотя он и знает, что ему никто в этом препятствовать не станет. Я в детстве очень любил этот народ, веселый, шаловливый, отважный и добродушно-лицемерный. Пока послушник послушником или «слимаком», на него никто не обращает внимания, и потому никто и не знает его натуры; а с тем как послушник надевает рясу и клобук, он резко изменяет и свой характер, и свои отношения к ближним. Пока же он послушник, он – существо необыкновенно общежительное. Какие гомерические кулачные бои я помню в монастырских хлебопекарнях! Какие песни удалые пелись вполголоса на стенах, когда пять или шесть рослых красивых послушников медленно прогуливались на них и зорко поглядывали за речку, за которой звонкими, взманивающими женскими голосами пелась другая песня – песня, в которой звучали крылатые зовы: «киньтесь, бросьтесь, во зелены гай бросьтесь!» И я помню, как, бывало, мнутяся слимаки, слушая эти песни, и, не утерпев, бросаются в зеленые гай. О! я все это очень хорошо помню. Не забыл я ни одного урока, ни в пении кантат, сочиненных на самые оригинальные темы, ни в гимнастике, для упражнения в которой, впрочем, высокие монастырские стены были не совсем удобны, ни в умении молчать и смеяться, сохраняя на лице серьезное выражение. Более же всего я любил рыбную ловлю на монастырском озере. Мои приятели-послушники тоже считали праздником поездку на это озеро. Рыбная ловля в их однообразной жизни была единственным занятием, при котором они могли хоть немножко разгуляться и попробовать крепость своих молодых мышц. И в самом деле, в этой рыбной ловле было очень много поэтического. От монастыря до озера было восемь или десять верст, которые надо было пройти пешком по очень густому чернолеску. Отправлялись на ловлю обыкновенно перед вечерней. На телеге, запряженной толстою и очень старою монастырскою лошадыю, лежали невод, несколько ведер, бочка для рыбы

и багры; но на телеге никто не сидел. Вожжи были взвязаны у тележной грядки, и если лошадь сбивалась с дороги, то послушник, исправлявший должность кучера, только подходил и дергал ее за вожжу. Но, впрочем, лошадь почти никогда и не сбивалась, да и не могла сбиться, потому что от монастыря до озера по лесу была всего одна дорожка, и то такая колеистая, что коню никогда не приходило охоты вытаскивать колес из глубоких колеи. С нами для надзора посылали всегда старца Игнатия, глухого и подслеповатого старичка, принимавшего когда-то в своей келье императора Александра I и вечно забывавшего, что Александр I уже не царствует. Отец Игнатий ездил на крошечной тележке и сам правил другою, толстою лошадыю. Я собственно всегда имел право ехать с отцом Игнатием, которому меня особо поручала моя бабушка, и отец Игнатий даже позволял мне править толстою лошадыю, запряженною в короткие оглобли его тележки; но я обыкновенно предпочитал идти с послушниками. А они никогда не шли по дороге. Понемногу, понемногу заберемся, бывало, в лес, сначала запоем: «Как шел по пути молодой монах, а навстречу ему Сам Иисус Христос», а там кто-нибудь заведет новую песню, и поем их одна за другою. Беззаботное, милое время! Благословенье тебе, благословенье и вам, дающим мне эти воспоминания. К ночи только, бывало, дойдем мы так к озеру. Тут на берегу стояла хатка, в которой жили два старичка, рясофорные послушники: отец Сергей и отец Вавила. Оба они были «некнижные», то есть грамоте не умели, и исполняли «сторожевое послушание» на монастырском озере. Отец Сергей был человек необыкновенно искусный в рукоделиях. У меня еще теперь есть прекрасная ложка и узорчатый крест его работы. Он также плел сети, кубари, лукошки, корзины и разные такие вещицы. Была у него очень искусно вырезанная из дерева статуэтка какого-то святого; но он ее показал мне всего только один раз, и то с тем, чтобы я никому не говорил. Отец Вавила, напротив, ничего не работал. Он был поэт. «Любил свободу, лень, покой». Он готов был по целым часам оставаться над озером в созерцательном положении и наблюдать, как летают дикие утки, как ходит осанистая цапля, таская по временам из воды лягушек, выпросивших ее себе в цари у Зевеса. Тотчас перед хаткою двух «некнижных» иноков начиналась широкая песчаная полоса, а за нею озеро. В хате было очень чисто: стояли две иконы на полочке и две тяжелые деревянные кровати, выкрашенные зеленою масляною краскою, стол, покрытый суровой ширинкой, и два стула, а по сторонам обыкновенные лавки, как в крестьянской избе. В угле был маленький шкафчик с чайным прибором, а под шкафчиком на особой скамеечке стоял самовар, вычищенный, как паровик на королевской яхте. Все было очень чисто и уютно. В келье «некнижных» отцов, кроме их самих, не жил никто, кроме желто-бурого кота, прозванного Капитаном и замечательного только тем, что, нося мужское имя и будучи очень долгое время почитаем настоящим мужчиною, он вдруг, к величайшему скандалу, окотился и с тех пор не переставал размножать свое потомство как кошка.

Из всего нашего обоза в хатке с отцами «некнижными» укладывался спать, бывало, только один отец Игнатий. Я обыкновенно отпрашивался от этой чести и спал с послушниками на открытом воздухе у хатки. Да мы, впрочем, почти и не спали. Пока, бывало, разведем огонь, вскипятим котелок воды, засыпем жидкую кашу, бросив туда несколько сухих карасей, пока поедим все это из большой деревянной чашки – уж и полночь. А тут, только ляжем, сейчас заводится сказка, и непременно самая страшная или многогрешная. От сказок переходили к былям, к которым каждый рассказчик, как водится, всегда и «небылиц без счета привирал». Так и ночь зачастую проходила, прежде чем кто-нибудь собирался заснуть. Рассказы обыкновенно имели предметом странников и разбойников. Особенно много таких рассказов знал Тимофей Невструев, пожилой послушник, слывший у нас за непобедимого силача и всегда собиравшийся на войну за освобождение христиан, с тем чтобы всех их «под себя подбить». Он исходил, кажется, всю Русь, был даже в Палестине, в Греции и высмотрел, что всех их «подбить можно». Уляжемся, бывало, на веретья, огонек еще курится, толстые лошади, привязанные у хрептуга, пофыркивают над овсом, а кто-нибудь уж и «заводит историю». Я

теперь перезабыл множество этих историй и помню только одну последнюю ночь, которую я благодаря снисходительности моей бабушки спал с послушниками на берегу П-ского озера. Тимофей Невструев был не совсем в духе – в этот день он стоял посреди церкви на поклонах за то, что перелезал ночью через ограду в настоятельском саде, – и начал рассказывать Емельян Высоцкий, молодой человек лет восемнадцати. Он был родом из Курляндии, брошен ребенком в нашей губернии и сделался послушником. Мать его была комедиантка, и он о ней ничего больше не знал; а вырос он у какой-то сердобольной купчихи, пристроившей его девятилетним мальчиком в монастырь на послушание. Разговор начался с того, что кто-то из послушников, после одной рассказанной сказки, вздохнул глубоко и спросил:

– Отчего это, братцы мои, нет теперь хороших разбойников?

Никто ничего не отвечал, и меня начинал мучить этот вопрос, которого я давно никак не мог разрешить себе. Я тогда очень любил разбойников и рисовал их на своих тетрадях в плащах и с красными перьями в шляпах.

– Есть и теперь разбойники, – отозвался тоненьким голоском послушник из курляндцев.

– Ну, говори, какие есть теперь разбойники? – спросил Невструев и закрылся под самое горло своим коленкорovým халатом.

– А вот, как я жил еще у Пузанихи, – начал курляндец, – так пошли мы один раз с матерью Натальей, что из Боровска, да с Аленой, тоже странницею из-под Чернигова, на богомолье к Николаю Угоднику амченскому.

– Это какая Наталья? Белая-то, высокая? Она, что ли? – прервал Невструев.

– Она, – ответил торопливо рассказчик и продолжал далее: – А тут на дороге есть село Отрада. Двадцать пять верст от Орла. Пришли мы в это село так под вечер. Попросились у мужиков ночевать – не пустили; ну, мы пошли на постоялый. На постоялом по грошу всего берут, да теснота была страшная! Все – трепачи. Человек, может, с сорок. Питра у них тут зашла, сквернословие такое, что уходи, да и только. Утром, как возбудила меня мать Наталья, трепачей уж не было. Только трое осталось, и то увязывали свои сумочки к треплам. Увязали и мы свои сумочки, заплатили три гроша за ночлег и тоже пошли. Вышли из деревни, смотрим – и те три трепача за нами. Ну, за нами и за нами. Ничего нам это невдомек. Только мать Наталья этак проговорила: «Что, дискать, за диво! Вчера, говорит, эти самые трепачи говорили, ужинавши, что в Орел идут, а нынче, гляди, идут за нами к Амченску». Идем дальше – трепачи за нами все издали. А тут лесок этаким на дороге вышел. Как стали мы подходить к этому лесу, трепачи нас стали догонять. Мы скорей, и они скорей. «Чего, говорят, бежите! не убежите ведь», да вдвоем хватать мать Наталью за руки. Та как вскрикнет не своим голосом, а мы с матерью Аленой ударились бежать. Мы бежим, а они вслед нам грохочут: «держи их, держи!» И они орут, и мать Наталья кричит. «Верно, ее зарезали», – думаем, да сами еще пуще. Тетка Алена так и ушла из глаз, а у меня ноги подкосились. Вижу, нет уж моей моченьки, взял да и упал под куст. Что, думаю, уж определено Богом, то и будет. Лежу и чуть дух перевожу. Жду, вот сейчас наскочут! ан никого нет. Только с матерью Натальей, слышно, все еще борются. Баба здоровая, не могут ее прикончить. В лесу-то тишь, все по зорьке мне слышно. Нет-нет, да и опять вскрикнет мать Наталья. Ну, думаю, упокой, Господи, ее душеньку. А сам уж не знаю, вставать мне да бежать или уж тут и ждать какого-нибудь доброго человека? Аж слышу, кто-то будто подходит. Лежу я ни жив ни мертв да смотрю из куста. Что ж, братцы мои, думаете, вижу? Подходит мать Наталья! Черный платок у нее с головы свалился; косица-то русая, здоровенная такая, вся растрепана, и сумку в руках несет, а сама так и натывается. Кликну ее, думаю себе; да и крикнул этак не во весь голос. Она остановилась и глядит на кусты, а я опять ее кликнул. «Кто это?» – говорит. Я выскочил, да к ней, а она так и ахнула. Озираюсь кругом – никого нет ни сзади, ни спереди. «Гонятся? – спрашиваю ее. – Побежим скорей!» А она стоит как остолененная, только губы трясутся. Платье на ней, смотрю, все-то изорвано, руки исцарапаны аж по самые локти, и лоб тоже исцарапан словно как ногтями. «Пойдем», – говорю ей опять.

«Душили тебя?» – спрашиваю. «Душили, говорит, пойдем скорей», и пошли. «Как же ты от них отбилась?» А она ничего больше не сказала до самой деревни, где мать Алену встретили.

– Ну, а тут что рассказывала? – спросил Невструев, хранивший так же, как и другие, во время всего рассказа мертвое молчание.

– Да и тут только и говорила, что гонялись все за ней, а она все молитву творила да песком им в глаза бросала.

– И ничего у нее не взяли? – спросил кто-то.

– Ничего. Башмак только с ноги да ладанку с шеи потеряла. Все они у нее денег за пазухой, сказывала, искали.

– Ну да! Это какие разбойники! им все и дело за пазухой только, – растолковал Невструев и вслед за тем начал рассказывать про лучших разбойников, которые напугали его в Обелиском уезде. – Вот это, – говорит, – были настоящие разбойники.

Становилось нестерпимо интересно, и все обратились в слух о настоящих хороших разбойниках.

Невструев начал:

– Шел, – говорит, – я из Коренной один раз. По обещанию от зуб ходил. Денег при мне было рубля с два да сумка с рубахами. Сошелся с двумя вроде... мещан на дороге. «Куда, спрашивают, идешь?» – «Туда-то», – говорю. «И мы, говорят, туда». – «Пойдем вместе». – «Ну, пойдем». Пошли. Пришли в одну деревню; уж смеркалось. «Давайте, – говорю им, – ночевать здесь»; а они говорят: «Тут скверно; пойдем еще с версту: там двор будет важный; там, говорят, нам всякое удовольствие предоставят». – «Мне, говорю, никаких ваших удовольствий не надо». – «Пойдем, говорят, недалеко ведь!» Ну, пошел. Точно, этак верст через пяток стоит в лесу двор не маленький, славно как постоялый. В двух окнах светло виднеется. Один мещанин постучал в кольцо, собаки в сенях залаяли, а никто не отпирает. Опять постучал; слышим, кто-то вышел из избы и окликнул нас; голос, можно распознать, женский. «Кто такие будете?» – спросила, а мещанин говорит: «Свои». – «Кто свои?» – «Кто, говорит, с борка, кто с сосенки». Двери отперли. В сенях темень такая, что смерть. Баба заперла за нами дверь и отворила избы. В избе мужчин никого не было, только баба та, что нам отворяла, да другая, корявая такая, сидела, волну щипала. «Ну, здорово, атаманиха!» – говорит мещанин бабе. «Здорово», – говорит баба и вдруг стала на меня смотреть. И я на нее гляжу. Здоровенная баба, годов этак тридцати будет, да белая, шельма, румяная, и глаза повелительные. «Где, говорит, вы этого молодца взяли?» Это на меня-то, значит. «Опосля, говорят, расскажем, а теперь дай спотыкаловки да едаловки, а то зубаревы девки от работы отвыкли». Поставили на стол солонины, хрену, водки бутылку и пирогов. «Ешь!» – говорят мне мещане. «Нет, говорю, я мяса не ем». – «Ну, бери пирог с творогом». Я взял. «Пей, говорят, водку». Выпил я рюмку. «Пей другую»; я выпил и другую. «Хочешь, говорят, жить с нами?» – «Как, спрашиваю, с вами?» – «А вот, как видишь: нам вдвоем несподручно, – ходи с нами и пей, ешь... только атаманшу слушай... Хочешь?» Плохо, думаю себе, дело! В недоброе я попал место. «Нет, говорю, ребята; мне с вами не жить». – «Отчего, говорят, не жить?» А сами все тянут водку и ко мне пристают: пей да пей. «Умеешь, – спрашивает один, – драться?» – «Не учился», – говорю. «А не учился, так вот тебе наука!» – да с этим словом как свистнет меня по уху. Хозяйка ни слова, а баба знай волну щипет. «За что же это, говорю, братцы?» – «А за то, говорит, не ходи по лавке, не гляди в окно», да опять с этим словом в другое ухо ляп. Ну, думаю, пропадать все равно, так уж не даром, развернулся сам да как шелкану его по затылку. Он так под стол и соскочил. Поднимается из-под стола, аж покряхтывает. Отмахнул рукой волосы да прямо за бутылку. «Хошь, говорит, тут твой и конец!» Все, вижу, молчат, и товарищ его молчит. «Нет, говорю, не хочу я конца». – «А не хочешь, так пей водку». – «И водки пить не стану». – «Пей! Игумен не увидит, на поклоны не поставит». – «Не хочу я водки». – «Ну, а не хочешь, так черт с тобой; заплати за то, что выпил, и ступай спать». – «Сколько, говорю, за водку с меня?» – «Все, что есть; у нас,

брат, дорогая, прозывается "горькая русская доля", с водой да с слезой, с перцем да с собачьим сердцем». Я было в шутку повернуть хотел, так нет; только что я достал кошелек, а мещанин цап его, да и швырнул за перегородку. «Ну, теперь, говорит, иди спать, чернец». – «Куда ж, мол, я пойду?» – «А вот тебя глухая тетеря проводит. Проведи его!» – закричал он бабе, что волну щипала. Пошел я за бабой в сени, из сеней на двор. Ночь такая хорошая, вот как теперь, на небе стожары горят, и по лесу ветерок, как белка, бегаёт. Так мне жалко стало и жизни-то своей, и монастыря тихого, а баба отворила мне подклеть: «иди, говорит, болезный», да и ушла. Словно как ей жаль меня было. Вошел я, щупаю руками-то, что-то нагромождено, а что – не разберешь никак. Нашупал столб. Думаю: все равно пропадать, и полез вверх. Добрался до матицы да к застрехе и ну решетины раздвигать. Руки все ободрал, наконец решетин пять раздвинул. Стал копать солому – звезды показались. Я еще работать; продрал дыру; выкинул в нее сперва свой мешочек, а там перекрестился, да и сам кувыркнул. И бежал я, братцы мои, так резво, как и сроду не бегал.

Все, бывало, больше в этом роде рассказывают, но эти рассказы казались тогда так интересными, что заслушаешься их и едва-едва сомкнешь глаза перед зарею. А тут отец Игнатий уж и поталкивает палочкой: «Вставайте! На озеро пора». Поднимутся, бывало, послушники, позевают, бедные: сон их клонит. Возьмут невод, разуются, снимут порты и пойдут к лодкам. А неуклюжие, черные, как гагары, монастырские лодки всегда были привязаны к кольям саженьях в пятнадцати от берега, потому что с берега далеко шла песчаная отмель, а черные лодки сидели очень глубоко в воде и не могли приставать к берегу. Меня Невструев всю мель до лодок переносил, бывало, на руках. Помню хорошо я эти переходы, эти добрые, беззаботные лица. Будто вижу теперь, как послушники, бывало, со сна идут в холодную воду. Подпрыгивают, посмеиваются и, дрожа от холода, тащат тяжелый невод, нагинаясь к воде и освежая ею свои липнувшие от сна глаза. Помню редкий пар, поднимающийся с воды, золотистых карасей и скользких налимов; помню утомительный полдень, когда все мы как убитые падали на траву, отказываясь от янтарной ухи, приготовленной отцом Сергием «некнижным». Но еще более помню недовольное и как бы злое выражение всех лиц, когда запрягали толстых лошадей, чтоб везти в монастырь наловленных карасей и нашего командира, отца Игнатия, за которым слимаки должны шествовать в свои монастырские стены.

И в этих-то памятных мне с детства местах пришлось мне еще раз совершенно неожиданно встретиться с убежавшим из Курска Овцебыком.

Глава пятая

Много воды уплыло с того времени, к которому относятся мои воспоминания, может быть, весьма мало касающиеся суровой доли Овцебыка. Я подрастал и узнавал горе жизни; бабушка скончалась; Илья Васильевич и Щеголиха с Нежданкою побывали; веселые слимаки ходили солидными иноками; меня поучили в гимназии, потом отвезли за шестьсот верст в университетский город, где я выучился петь одну латинскую песню, прочитал кое-что из Штрауса, Фейербаха, Бюхнера и Бабефа и во всеоружии моих знаний возвратился к своим ларам и пенатам. Тут-то я свел описанное мною знакомство с Василием Петровичем. Прошло еще четыре года, проведенные мною довольно печально, и я снова очутился под родными липами. Дома и в это время не произошло никаких перемен ни в нравах, ни во взглядах, ни в направлениях. Новости были только естественные: матушка постарела и пополнела, четырнадцатилетняя сестра прямо с пансионерской скамьи сошла в безвременную могилу, да выросло несколько новых липок, посаженных ее детскою рукою. «Неужто же, – думал я, – ничто не переменилось в то время, когда я пережил так много: верил в Бога, отвергал Его и паки находил Его; любил мою родину, и распинался с нею, и был с распинающими ее!» Это даже обидно показалось моему молодому самолюбию, и я решился произвести поверку – всему поверку – себе и всему, что меня окружало в те дни, когда мне были новы все впечатленья бытия. Прежде всего я хотел видеть мои любимые пустыни, и в одно свежее утро я поехал на бегунцах в П-скую пустынь, до которой от нас всего двадцать с чем-то верст. Та же дорога, те же поля, и галки так же прячутся в густых озимях, и мужики так же кланяются ниже пояса, и бабы так же ищутся, лежа перед порогом. Все по-старому. Вот и знакомые монастырские ворота – тут новый привратник, старый – уж монахом. Но отец казначей еще жив. Больной старик уже доживал девятый десяток лет. В наших монастырях есть много примеров редкого долголетия. Отец казначей, однако, уже не исправлял своей должности и жил «на покое», хотя по-прежнему назывался не иначе, как «отцом казначеем». Когда меня ввели к нему, он лежал на постели и, не узнав меня, засуетился и спросил келейника: «Кто это?» Я, ничего не отвечая, подошел к старику и взял его за руку. «Здравствуйте, здравствуйте! – бормотал отец казначей. – Кто вы такой будете?» Я нагнулся к нему, поцеловал его в лоб и сказал свое имя. «Ах ты, дружочек, дружочек!.. ну что ж, ну, здравствуй! – заговорил старик, снова засуетясь на своей кровати. – Кирилл! самоварчик раздуй скорей! – сказал он келейнику. – А я, раб, уж не хожу. Вот больше года ноги всё пухнут». У отца казначей была водяная, которою очень часто оканчивают монахи, проводящие жизнь в долгом церковном стоянии и в других занятиях, располагающих к этой болезни.

– Зови же Василья Петровича, – сказал казначей келейнику, когда тот поставил самовар и чашки на столик к постели. – Тут у меня один бедак живет, – добавил старик, обращаясь ко мне.

Келейник вышел, и через четверть часа по плитяному полу сеней послышались шаги и какое-то мычанье. Отворилась дверь, и моим удивленным глазам предстал Овцебык. Он был одет в короткую свитку из великорусского крестьянского сукна, пестрядинные порты и высокие ютковые, довольно ветхие, сапоги. Только на голове у него была высокая черная шапочка, какие носят монастырские послушники. Наружность Овцебыка так мало изменилась, что, несмотря на довольно странный наряд, я узнал его с первого взгляда.

– Василий Петрович! Вы ли это? – сказал я, идя навстречу моему приятелю, и в то же время подумал: «О, кто же лучше, как ты, скажет мне, как пронеслись над здешними головами годы сурового опыта?»

Овцебык мне как будто обрадовался, а отец казначей удивлялся, видя в нас двух старых знакомых.

– Ну, вот и прекрасно, прекрасно, – лепетал он. – Наливай же, Вася, чай.

– Вы ведь знаете, что я не умею наливать чаю, – отвечал Овцебык.

– Правда, правда. Наливай ты, гостек.

Я стал наливать чашки.

– Давно вы здесь, Василий Петрович? – спросил я, подав Овцебыку чашку.

Он откусил сахару, стрягнул кусочек и, хлебнув раза три, отвечал:

– Месяцев девять будет.

– Куда ж вы теперь?

– Покуда никуда.

– А можно узнать, откуда? – спросил я, невольно улыбаясь при воспоминании, как Овцебык отвечал на подобные вопросы.

– Можно.

– Из Перми?

– Нет.

– Откуда же?

Овцебык поставил выпитую чашку и проговорил:

– Был иже везде и нигде.

– Челновского не видали ли?

– Нет. Я там не был.

– Мать ваша жива ли?

– В богадельне померла.

– Одна?

– Да ведь с кем же умирают-то?

– Давно?

– С год, говорят.

– Погуляйте, ребятки, а я сосну до вечерни, – сказал отец казначей, которому уж тяжело было всякое напряжение.

– Нет, я на озеро хочу проехать, – отвечал я.

– А! ну поезжай, поезжай с Богом и Васю свези: он тебе почудит дорогой.

– Поедемте, Василий Петрович.

Овцебык почесался, взял свой колпачок и отвечал:

– Пожалуй.

Мы простились до завтра с отцом казначеем и вышли. На житном дворе мы сами запрягли мою лошадку и поехали. Василий Петрович сел ко мне задом, спина со спиной, говоря, что иначе он не может ехать, потому что ему воздуха мало за чужой головой. Дорогой он вовсе не чудил. Напротив, он был очень неразговорчив и только все меня расспрашивал: видал ли я умных людей в Петербурге? и про что они думают? или, перестав расспрашивать, начинал свистать то соловьем, то иволгой.

В этом прошла вся дорога.

У давно знакомой хатки нас встретил низенький рыжий послушник, заступивший место отца Сергия, который года три как умер, завещав свои инструменты и приготовленный материал беззаботному отцу Вавиле. Отца Вавилы не было дома: он, по обыкновению, гулял над озером и смотрел на цапель, глотающих покорных лягушек. Новый товарищ отца Вавилы, отец Прохор, обрадовался нам, точно деревенская барышня звону колокольчика. Сам он бросался отпрягать нашу лошадь, сам раздувал самовар и все уверял, что «отец Вавило вот ту минуту вернутся». Мы с Овцебыком вняли этим уверениям, уселись на завалинке лицом к озеру и оба приятно молчали. Никому не хотелось говорить.

Солнце уже совсем село за высокие деревья, окружающие густою чашею все монастырское озеро. Гладкая поверхность воды казалась почти черною. В воздухе было тихо, но душно.

– Гроза будет ночью, – сказал отец Прохор, таща на себе в сени подушку с моих беговых дрожек.

– Зачем вы беспокоитесь? – отвечал я. – Может быть, еще и не будет.

Отец Прохор застенчиво улыбался и проговорил:

– Ничего-с! Какое беспокойство!

– Я и лошадку тоже заведу в сени, – начал он, выйдя снова из хатки.

– Зачем, отец Прохор?

– Гроза большая будет; испугается, оторвется еще. Нет-с, я ее лучше в сени. Ей там хорошо будет.

Отец Прохор отвязал лошадь и, войдя в сени, тянул ее за повод, приговаривая: «Иди, матушка! иди, дурашка! Чего боишься?»

– Вот так-то лучше, – оказал он, оставив лошадь в уголку сеней и насыпав ей овса в старое решето. – Чтой-то отца Вавилы долго нет, право! – проговорил он, зайдя за угол хатки. – А вот уж и замолаживает, – добавил он, показывая рукою на серовато-красное облачко.

На дворе совсем смеркалось.

– Я пойду посмотрю отца Вавилу, – сказал Овцебык и, закрутив свои косицы, зашагал в лес.

– Не ходите: вы с ним разойдетесь.

– Небось! – и с этим словом он ушел.

Отец Прохор взял охапку дров и пошел в избу. Скоро в окнах засветилось пламя, которое он развел на загнетке, и в котелке закипела вода. Ни отца Вавилы, ни Овцебыка не было. Между тем вершины деревьев в это время изредка стали поколыхиваться, хотя поверхность озера еще стояла спокойною, как застывающий свинец. Только изредка можно было заметить беленькие плески от какого-нибудь резвящегося карася, да лягушки хором тянули одну монотонно-унылую ноту. Я еще все сидел на завалинке, глядя на темное озеро и вспоминая мои в темную даль улетевшие годы. Тут тогда были эти неуклюжие лодки, к которым носил меня могучий Невструев; здесь я спал с послушниками, и все тогда было такое милое, веселое, полное, а теперь как-то все как будто и то же, да нет чего-то. Нет беззаботного детства, нет теплой животворящей веры во многое, во что так сладко и так уповательно верилось.

– Руси дух пахнет! Откуда гости дорогие? – крикнул отец Вавила, внезапно выйдя из-за угла хатки, так что я совершенно не заметил его приближения.

Я его узнал с первого раза. Он только совсем побелел, но тот же детский взгляд и то же веселое лицо.

– Издалека изволите быть? – спросил он меня.

Я назвал одну деревню верст за сорок.

Он спросил: не сыночек ли я Афанасья Павловича?

– Нет, – говорю.

– Ну, все равно: милости прошу в келью, а то дождь накрапывает.

Действительно, начал накрапывать дождик, и по озеру зарябило, хотя ветра в этой котловине никогда почти не бывало. Разгуляться ему здесь было негде. Такое уж было место тихое.

– Как величать позволите? – спросил отец Вавила, когда мы совсем вошли в его хатку.

Я назвал свое имя. Отец Вавила посмотрел на меня, и на его добродушно-хитрых губах показалась улыбка. Я тоже не удержался и улыбнулся. Мистификация моя не удалась: он узнал меня; мы обнялись со стариком, много раз сряду поцеловались и ни с того ни с сего оба заплакали.

– Дай-ка я посмотрю на тебя поближе, – сказал продолжавший улыбаться отец Вавила, подводя меня к очагу. – Ишь вырос!

– А вы состарились, отец Вавила.

Отец Прохор засмеялся.

– А они у нас еще все молодятся, – заговорил отец Прохор, – и даже ужась как молодятся.
– А то, по-вашему, что ль! – храбрясь, отвечал отец Вавила, но тут же и присел на стульце и добавил: – Нет, братик! дух бодр, а плоть уж отказывается. К отцу Сергию пора. Поясницу нынче все ломит – плох становлюсь.

– А давно умер отец Сергей?

– Третий год со Спиридона пошел.

– Хороший был старик, – сказал я, вспоминая покойника с его палочками и ножичком.

– Смотри-ка! В угол-то смотри! тут вся его мастерская и теперь стоит. Да зажги ты свечу, отец Прохор.

– А Капитан жив?

– Ах, ты kota... то бишь кошку нашу Капитана помнишь?

– Как же!

– Удушился, брат, Капитан. Под дежу его как-то занесло; дежа захлопнулась, а нас дома не было. Пришли, искали, искали – нет нашего kota. А дня через два взяли дежу, смотрим – он там. Теперь другой есть... гляди-ко какой: Васька! Васька! – стал звать отец Вавила.

Из-под печи вышел большой серый кот и начал тыкать головою в ноги отцу Вавиле.

– Ишь ты, bestия какая!

Отец Вавила взял kota и, положив его на колени, брюхом кверху, щекотал ему горло. Точно теньеровская картина: белый как лунь старик с серым толстым котом на коленях, другой полустарик в углу ворочается; разная утварь домашняя, и все это освещено теплым, красным светом горящего очага.

– Да зажигай свечу-то, отец Прохор! – крикнул опять отец Вавила.

– Вот сейчас. Никак не справишь.

Отец Вавила между тем оправдывал Прохора и рассказывал мне:

– Мы ведь себе свечи теперь не зажигаем. Рано ложимся.

Зажгли свечу. Хата точно в том же порядке, как была за двенадцать лет назад. Только вместо отца Сергия у печки стоит отец Прохор, а вместо бурого Капитана с отцом Вавилою забавляется серый Васька. Даже ножик и пучок корневатых палочек, приготовленных отцом Сергием, висит там, где их повесил покойник, приготовлявший их на какую-то потребу.

– Ну, вот и яйца сварились, вот и рыба готова, а Василья Петровича нет, – сказал отец Прохор.

– Какого Василья Петровича?

– Блажного, – отвечал отец Прохор.

– Неш ты с ним приехал?

– С ним, – сказал я, догадываясь, что кличка принадлежит моему Овцебыку.

– Кто ж это тебя с ним сюда справил?

– Да мы давно знакомы, – сказал я. – А вы мне скажите, за что вы его блажным-то прозвали?

– Блажной он, брат. Ух какой блажной!

– Он – добрый человек.

– Да я не говорю, что злой, а только блажь его одолела; он теперь как нестоящий: всеми порядками недоволен.

Было уже десять часов.

– Что ж, давайте ужинать. Авось подойдет, – скомандовал, начиная умывать руки, отец Вавила. – Да, да, да: поужинаем, а потом литийку... Хорошо? По отце Сергие-то, говорю, литийку все пропоем?

Стали ужинать, и поужинали, и «со святыми упокой» пропели отцу Сергию, а Василий Петрович все еще не возвращался.

Отец Прохор убрал со стола лишнюю посуду, а сковороду с рыбой, тарелку, соль, хлеб и пяток яиц оставил на столе, потом вышел из хаты и, возвратясь, сказал:

– Нет, не видать.

– Кого не видать? – спросил отец Вавила.

– Василья Петровича.

– Уж если б тут был, так не стоял бы за дверью. Он теперь, видно, на прогулку вздумал.

Отец Прохор и отец Вавила непременно хотели меня уложить на одной из своих постелей. Насилу я отговорился, взял себе одну из мягких ситниковых рогож работы покойного отца Сергия и улегся под окном на лавке. Отец Прохор дал мне подушку, погасил свечу, еще раз вышел и довольно долго там оставался. Очевидно, он поджидал «блажного», но не дождался и, возвратясь, сказал только:

– А гроза непременно соберется.

– Может быть, и не будет, – сказал я, желая успокоить себя насчет исчезшего Овцебыка.

– Нет, будет: парило нынче крепко.

– Да уж давно парит.

– У меня поясницу так и ломит, – подсказал отец Вавила.

– И муха с самого утра как оглашенная в рожу лезла, – добавил отец Прохор, фундаментально повернувшись на своей массивной кровати, и все мы, кажется, в эту же самую минуту и заснули. На дворе стояла страшная темень, но дождя еще не было.

Глава шестая

– Встань! – говорил мне отец Вавила, толкая меня на постели. – Встань! нехорошо спать в такую пору. Неравен час воли Божией.

Не разобрав, в чем дело, я проворно вскочил и сел на лавке. Перед образом горела тоненькая восковая свеча, и отец Прохор в одном белье стоял на коленях и молился. Страшный удар грома, с грохотом раскатившийся над озером и загудевший по лесу, объяснил причину тревоги. Муха, значит, недаром лезла в рожу отцу Прохору.

– Где Василий Петрович? – спросил я стариков.

Отец Прохор, не переставая шептать молитву, обернулся ко мне лицом и показал движением, что Овцебык еще не возвращался. Я посмотрел на мои часы: был ровно час пополудни. Отец Вавила, также в одном белье и в коленкоровом ватном нагруднике, смотрел в окно; я тоже подошел к окну и стал смотреть. При непрерывной молнии, светло озарявшей все открывавшееся из окна пространство, можно было видеть, что земля довольно суха. Дождя большого, значит, не было с тех пор, как мы заснули. Но гроза была страшная. Удар следовал за ударом, один другого громче, один другого ужаснее, а молния не умолкала ни на минуту. Словно все небо разверзлось и готово было с грохотом упасть на землю огненным потоком.

– Где он может быть? – сказал я, невольно думая об Овцебыке.

– И не говори лучше, – отозвался отец Вавила, не отходя от окна.

– Не случилось ли чего с ним?

– Да случиться, кажется, чему бы! Зверя большого нет тут. Разве лихой человек – так и то не слышно было давно. Нет, так небось ходит. Ведь на него какая блажь найдет.

– А вид точно прекрасный, – продолжал старик, любясь озером, которое молния освещала до самого противоположного берега.

В это мгновение грянул такой удар, что вся хата затряслась; отец Прохор упал на землю, а нас с отцом Вавилою так и отбросило к противоположной стене. В сенях что-то рухнуло и повалилось к двери, которою входили в хату.

– Горим! – закричал отец Вавила, первый выйдя из общего оцепененья, и бросился к двери. Дверь нельзя было отпереть.

– Пустите, – сказал я, совершенно уверенный, что мы горим, и с размаху крепко ударил плечом в дверь.

К крайнему нашему удивлению, дверь на этот раз отворилась свободно, и я, не удержавшись, вылетел за порог. В сенях было совершенно темно. Я вернулся в хату, взял от образника одну свечечку и с нею опять вышел в сени. Шум весь наделала моя лошадь. Перепуганная последним ужасным ударом грома, она дернула повод, которым была привязана к столбу, повалила пустой капустный напл, на котором стояло решето с овсом, и, кинувшись в сторону, притиснула нашу дверь своим телом. Бедное животное пряло ушми, тревожно водило кругом глазами и тряслось всеми членами. Втроем мы всё привели в порядок, насыпали новое решето овса и возвратились в хату. Прежде чем отец Прохор внес свечечку, мы с отцом Вавилою заметили в хатке слабый свет, отражавшийся через окно на стену. Посмотрели в окно, а как раз напротив, на том берегу озера, словно колоссальная свечка, теплилась старая сухостойная сосна, давно одиноко торчавшая на голом песчаном холме.

– А-а! – протянул отец Вавила.

– Моленья зажгла, – подсказал отец Прохор.

– И как горит прелестно! – сказал опять художественный отец Вавила.

– Богом ей так назначено, – отвечал богобоязливый отец Прохор.

– Ляжемте, однако, спать, отцы: гроза утихла.

Действительно, гроза совершенно стихла, и только издали неслись далекие раскаты грома да по небу тяжело ползла черная бесконечная туча, казавшаяся еще чернее от горячей сосны.

– Глядите! глядите! – неожиданно воскликнул все еще смотревший в окно отец Вавила. – Ведь это наш блажной!

– Где? – спросили в один голос я и отец Прохор и оба глянули в окно.

– Да вон, у сосны.

Действительно, шагах в десяти от горячей сосны ясно обрисовывался силуэт, в котором можно было с первого взгляда узнать фигуру Овцебыка. Он стоял, заложа руки за спину, и, подняв голову, смотрел на горевшие сучья.

– Прокричать ему? – спросил отец Прохор.

– Не услышит, – отвечал отец Вавила. – Видите, шум какой: невозможно услышать.

– И рассердится, – добавил я, хорошо зная натуру моего приятеля.

Постояли еще у окна. Овцебык не трогался. Назвали его несколько раз «блажным» и легли на свои места. Чудачества Василья Петровича давно перестали и меня удивлять; но в этот раз мне было нестерпимо жаль моего страдающего приятеля... Стоя рыцарем печального образа перед горящею сосною, он мне казался шутком.

Глава седьмая

Когда я проснулся, было уже довольно поздно. «Некнижных» отцов не было в хатке. У стола сидел Василий Петрович. Он держал в руках большой ломоть ржаного хлеба и прихлебывал молоком прямо из стоящего перед ним кувшина. Заметив мое пробуждение, он взглянул на меня и молча продолжал свой завтрак. Я с ним не заговаривал. Так прошло минут двадцать.

– Чего растягиваться-то? – сказал наконец Василий Петрович, поставив выпитый им кувшин молока.

– А что ж бы нам начать делать?

– Пойдем бродить.

Василий Петрович был в самом веселом расположении духа. Я очень дорожил этим расположением и не стал его расспрашивать о ночной прогулке. Но он сам заговорил о ней, как только мы вышли из хаты.

– Ночь была грозная какая! – начал Василий Петрович. – Просто не запомню такой ночи.

– А дождя ведь не было.

– Начинал раз пять, да не разошелся. Люблю я смерть такие ночи.

– А я не люблю их.

– Отчего?

– Да что ж хорошего-то? вертит, ломит все.

– Гм! вот то-то и хорошо, что все ломит.

– Еще придавит ни за что ни про что.

– Эко штука!

– Вот сосну разбило.

– Славно горела.

– Мы видели.

– И я видел. Хорошо жить в лесах.

– Комаров только много.

– Эх вы, канареечный завод! Комары заедят.

– Они и медведей, Василий Петрович, донимают.

– Да, а все ж медведь из лесу не пойдет. Полюбил я эту жизнь, – продолжал Василий Петрович.

– Лесную-то?

– Да. В северных-то лесах что это за прелесть! Густо, тихо, лист аж синий – отлично!

– Да ненадолго.

– Там и зимой тоже хорошо.

– Ну, не думаю.

– Нет, хорошо.

– Что ж вам там нравилось?

– Тихость, и сила есть в той тихости.

– А каков народ?

– Что значит: каков народ?

– Как живет и чего ожидает?

Василий Петрович задумался.

– Вы ведь два года с ними прожили?

– Да, два года и еще с хвостиком.

– И узнали их?

– Да чего узнавать-то?

– Что в тамошних людях таится?

– Дурь в них таится.

– А вы же прежде так не думали?

– Не думал. Что думы-то наши стоят? Думы те со слов строились. Слышишь «раскол», «раскол», сила, протест, и все думаешь открыть в них невесть что. Все думаешь, что там слово такое, как нужно, знают и только не верят тебе, оттого и не доберешься до живца.

– Ну, а на самом деле?

– А на самом деле – буквоеды, вот что.

– Да вы с ними сошлись ли хорошо?

– Да как еще сходить-то! Я ведь не с тем шел, чтобы баловаться.

– Как же вы сходились-то? Ведь это интересно. Расскажите, пожалуйста.

– Очень просто: пришел, нанялся в работники, работал как вол... Вот ляжем-ка тут над озером.

Мы легли, и Василий Петрович продолжал свой рассказ, по обыкновению, короткими отрывистыми выражениями.

– Да, я работал. Зимой я назвался переписывать книги. Уставом и полууставом писать наловчился скоро. Только все книги черт их знает какие давали. Не такие, каких я надеялся. Жизнь пошла скучная. Работа да моленное пение, и только. А больше ничего. Потом стали всё звать меня: «Иди, говорят, совсем к нам!» Я говорю: «Все одно, я и так ваш». – «Облюбуй девку и иди к кому-нибудь во двор». Знаете, как мне не по нутру! Однако, думаю, не из-за этого же бросить дело. Пошел во двор.

– Вы?

– А то кто ж?

– Вы женились?

– Взял девку, так, стало быть, женился.

Я просто остолбенел от удивления и невольно спросил:

– Ну, что ж дальше вышло?

– А дальше дрянь вышла, – сказал Овцебык, и на лице его отразились и зло и досада.

– Женою, что ли, вы несчастливы?

– Да разве жена может сделать мое счастье или несчастье? Я сам себя обманул. Я думал найти там город, а нашел лукошко.

– Раскольники не допустили вас до своих тайн?

– До чего допускать-то! – с негодованием вскрикнул Овцебык. – Только ведь за секретом все и дело. Понимаете, этого слова-то «Сезам, отворись», что в сказке говорится, его-то и нет! Я знаю все их тайны, и все они презрения единого стоят. Сойдутся, думаешь, думу великую зарешат, ан черт знает что – «благая честь да благая вера». В вере благой они останутся, а в чести благой тот, кто в чести сидит. Забобоны да буквоедство, лестовки из ремня да плетть бы ременную подлиннее. Не их ты креста, так и дела до тебя нет. А их, так нет чтоб тебе подняться дали, а в богадельню ступай, коли стар или слаб, и живи при милости на кухне. А молод – в батраки иди. Хозяин будет смотреть, чтоб ты не баловался. На белом свете тюрьму увидишь. Всё еще соболезнают, индюки проклятые: «Страху мало. Страх, говорят, исчезает». А мы на них надежды, мы на них упования возверзаем!.. Байбаки дурацкие, только морочат своим секретничаньем. – Василий Петрович с негодованием плюнул.

– Так, стало быть, наш здешний простой мужик лучше?

Василий Петрович задумался, потом еще плюнул и спокойным голосом отвечал:

– Не в пример лучше.

– Чем же особенно?

– Тем, что не знает, чего желает. Этот рассуждает так, рассуждает и иначе, а у того одно рассуждение. Все около своего пальца мотает. Простую вот такую-то землю возьми, либо старую плотину раскапывай. Что по ней, что ее руками насыпали! Хворост в ней есть, хворост и

будет, а хворост повытаскаешь, опять одна земля, только еще дуrom взбуровленная. Так вот и рассуждай, что лучше-то?

– Как же вы ушли?

– Так и ушел. Увидал, что делать нечего, и ушел.

– А жена?

– Что же вам про нее интересно?

– Как же вы ее одну там оставили?

– А куда же мне с нею деваться?

– Увести ее с собою и жить с нею.

– Очень нужно.

– Василий Петрович, ведь это жестоко! А если она вас полюбила?

– Вздор говорите! Что еще за любовь: нынче уставщик почитал – мне жена; завтра «поблагословится» – с другим в чулан спать пойдет. Да и что мне до бабы, что мне до любви! что мне до всех баб на свете!

– Но человек же она, – говорю. – Пожалеть-то ее все-таки следовало бы.

– Вот в этом смысле бабу-то пожалеть!.. Очень важное дело, с кем ей в чулан лезть. Как раз время к сему, чтоб об этом печалиться! Сезам, Сезам, кто знает, чем Сезам отпереть, – вот кто нужен! – заключил Овцебык и заколотил себя в грудь, – Мужа, дайте мужа нам, которого бы страсть не делала рабом, и его одного мы сохраним душе своей в святейших недрах.

Дальнейшая беседа наша с Василием Петровичем не ладилась. Пообедав у стариков, я завез его в монастырь, простился с отцом казначеем и уехал домой.

Глава восьмая

Спустя дней десять после моей разлуки с Васильем Петровичем я седел с матушкой и сестрою на крыльчке нашего маленького домика. Смеркалось. Вся прислуга отправилась ужинать, и возле дома никого, кроме нас, не было. Везде была кругом глубочайшая вечерняя тишина, и вдруг среди этой тишины две большие дворные собаки, лежавшие у наших ног, разом вскочили, бросились к воротам и с озлоблением на кого-то напали. Я встал и пошел к воротам посмотреть на предмет их злобной атаки. У частокола, прислонясь спиною, стоял Овцебык и насилу отмахивался палкою от двух псов, напавших на него с человеческим ожесточением.

– Заели было, проклятые, – сказал он мне, когда я отогнал собак.

– Вы пешком?

– Как видите, на цуфусах.

У Василья Петровича за спиною был и мешочек, с которым он обыкновенно путешествовал.

– Пойдемте же.

– Куда?

– Ну, к нам в дом.

– Нет, я туда не пойду.

– Отчего не пойдете?

– Там какие-то барышни.

– Какие барышни! Это – мать моя и сестра.

– Все равно не пойду.

– Полноте чудить! они люди простые.

– Не пойду! – решительно сказал Овцебык.

– Куда же мне вас деть?

– Нужно куда-нибудь деть. Мне некуда деваться.

Я вспомнил о бане, которая летом была пуста и нередко служила спальнею для приезжающих гостей.

Домик у нас был маленький, «шляхетский», а не «панский».

Через двор, мимо крыльца, Василий Петрович тоже ни за что не хотел идти. Можно было пройти через сад, но я знал, что баня заперта, а ключ от нее у старой няни, которая ужинает в кухне. Оставить Василья Петровича не было никакой возможности, потому что на него снова напали бы собаки, отошедшие от нас только на несколько шагов и злобно лаявшие. Я перегнулся через частокол, за которым стоял с Васильем Петровичем, и громко кликнул сестру. Девочка подбежала и остановилась в недоумении, увидя оригинальную фигуру Овцебыка в крестьянской свитке и послушничьем колпаке. Я послал ее за ключом к няне и, получив вожделенный ключ, повел моего нежданного гостя через сад в баню.

Всю ночь напролет мы проговорили с Васильем Петровичем. Ему нельзя было возвращаться в пустынь, откуда он пришел, ибо его оттуда выгнали за собеседования, которые он задумал вести с богомольцами. Идти в иное место у него не было никакого плана. Неудачи его не обескуражили, но разбили на время его соображения. Он много говорил о послушниках, о монастыре, о приходящих туда со всех сторон богомольцах, и все это говорил довольно последовательно. Василий Петрович, живучи в монастыре, приводил в исполнение самый оригинальный план. Мужей, которых бы страсти не делали рабами, он искал в рядах униженных и оскорбленных монастырской семьи и с ними хотел отпереть свой Сезам, действуя на массы приходящего на богомолье народа.

– Этого пути никто не видит: его никто не сторожится; им не брегут зиждущие; а тут-то и есть то, чту нужно во главу угла, – рассуждал Овцебык.

Припоминая себе хорошо знакомую монастырскую жизнь и тамошних людей из разряда униженных и оскорбленных, я готов был признать, что соображения Василья Петровича во многом не лишены основания.

Но пропагандист мой уже прогорел. Первый муж, стоявший, по его мнению, выше страстей, мой старый знакомый, послушник Невструев, в монашестве дьякон Лука, сделавшись поверенным Богословского, вздумал помочь своему унижению и оскорблению: он открыл начальству, «коего духа» Овцебык, и Овцебык был выгнан.

Теперь он был без приюта. Мне через неделю нужно было ехать в Петербург, а у Василья Петровича не было места, куда бы приклонить голову. Остаться у моей матери ему было невозможно, да и он сам не хотел этого.

– Найдите мне опять кондицию, я обучать хочу, – говорил он.

Нужно было искать кондицию. Я взял с Овцебыка слово, что он новое место примет только для места, а не для посторонних целей, и стал искать ему приюта.

Глава девятая

В нашей губернии очень много мелкопоместных деревень. Вообще у нас, говоря языком членов С.-Петербургского политико-экономического комитета, довольно распространено хуторное хозяйство. Однодворцы, владевшие крепостными людьми, после отобрания у них крестьян остались хуторянами, небольшие помещики промотались и крестьян продали на свод в дальние губернии, а землю купцам или разбогатевшим однодворцам. Около нас было пять или шесть таких хуторов, перешедших в руки лиц недворянской крови. В пяти верстах от нашего хутора был Барков-хутор: так он назывался по имени своего прежнего владельца, о котором говорили, что в Москве он жил когда-то

Праздно, весело, богато
И от разных матерей
Прижил сорок дочерей,

а на старости лет вступил в законный брак и продавал имение за именем. Барков-хутор, составлявший некогда отдельную дачу большого имения промотавшегося барина, принадлежал теперь Александру Ивановичу Свиридову. Александр Иванович родился в крепостном сословии, обучен грамоте и музыке. Смолоду он играл на скрипке в помещичьем оркестре, а девятнадцати лет откупился за пятьсот рублей на волю и сделался винокуром. Одаренный ясным практическим умом, Александр Иванович отлично повел свои дела. Сначала он сделал себе известность как лучший винокур в околотке; потом стал строить винокуренные заводы и водяные мельницы; собрал рублей тысячу свободных денег, съездил на год в Северную Германию и возвратился оттуда таким строителем, что слава его быстро разнеслась на далекое пространство. В трех смежных губерниях знали Александра Ивановича и наперебой навязывали ему постройки. Дела он вел необыкновенно аккуратно и снисходительно смотрел на дворянские слабости своих заказчиков. Вообще он знал людей и часто смеялся в рукав над многими, но был человек недурной и даже, пожалуй, добрый. Его все любили, кроме местных немцев, над которыми он любил подтрунивать, когда они принимались вводить культурные порядки с полудикими людьми. «Обезьяну, – говорил он, – сейчас сделает», и немец действительно, как нарочно, ошибался в расчете и делал обезьяну. Через пять лет по возвращении из Мекленбург-Шверина Александр Иванович купил у своего бывшего помещика Барков-хутор, записался в купечество нашего уездного города, выдал замуж двух сестер и женил брата. Семья была выкуплена им из крепостного звания еще до поездки за границу и вся держалась вокруг Александра Ивановича. Брат и зятья все были у него на службе и на жалованье. Обращался он с ними крутенько. Не обижал, но держал в страхе. Так он держал и приказчиков и рабочих. И не то чтобы он любил почет, а так... Убежден он был, что «нужно, чтоб люди не баловались». Купив хутор, Александр Иванович выкупил у того же помещика горничную девушку Настасью Петровну и сочетался с ней законным браком. Жили они всегда очень согласно. Люди говорили, что у них «совет да любовь». Выйдя замуж за Александра Ивановича, Настасья Петровна, что говорят, «раздобрела». Она всегда была писаная красавица, но замужем расцвела, как пышная роза. Высокая, белая, немножко полная, но стройная, румянец во всю щеку и большие ласковые голубые глаза. Хозяйка Настасья Петровна была очень хорошая. Муж, бывало, редко когда неделю просидит дома – все в разъездах по работам, а она и хозяйство по хутору ведет, и приказчиков отсчитывает, и лес или хлеб, если нужно куда на заводы, покупает. Во всем она была Александру Ивановичу правая рука, и зато все относились к ней очень серьезно и с большим уважением, а муж верил ей без меры и с нею не держался своей строгой политики. Ей у него ни в чем отказа не было. Только она ничего не требовала. Читать сама выучи-

лась и имя свое умела подписывать. Детей у них было всего две девочки: старшей девять лет, а младшей семь. Учила их гувернантка из русских. Сама Настасья Петровна шутя называла себя «дурой безграмотной». А впрочем, она знала едва ли менее многих иных так называемых воспитанных дам. По-французски она не разумела, но русские книги просто пожирала. Память у ней была страшная. Карамзинскую историю, бывало, чуть не наизусть рассказывает. А стихов на память знала без счету. Особенно она любила Лермонтова и Некрасова. Последний был особенно понятен и сочувствен ее много перестрадавшему в былое время крепостному сердцу. В разговоре у нее еще часто прорывались крестьянские выражения, особенно когда она говорила с воодушевлением, но эта народная речь даже необыкновенно шла к ней. Бывало, если она станет рассказывать этой речью что-нибудь прочитанное, так такую силу придаст своему рассказу, что после уж и читать не хочется. Очень способная была женщина. Дворянство наше часто наезжало в Барков-хутор, иногда так, чужого ужина попробовать, а больше по делам. Александру Ивановичу везде был кредит открыт, а помещикам мало верили, зная их плохую расплату. Говорили: «он аристократ – дай ему, да ори сто крат». Такова была их репутация. Понадобился хлеб – вино курить не из чего, а задатки либо промотаны, либо на уплату старых долгов пошли, – ну, и тянут к Александру Ивановичу. «Выручи! Голубчик, такой-сякой, поручись». Тут у Настасьи Петровны ручки целуют – ласковые такие и простодушные. А она, бывало, выйдет да помирает-хохочет. «Видели, говорит, жиристов-то!» Настасья Петровна «жиристами» прозывала дворян с тех пор, как одна московская барыня, вернувшись в свое разоренное имение, хотела «воспитать дикий самородок» и говорила: «как же вы не понимаете, ma belle Anastasie, что везде есть свои жирондисты!» Впрочем, руку у Настасьи Петровны все целовали, и она к этому привыкла. Но были и такие ухорцы, что открывались ей в любви и звали ее «под сень струй». Один лейб-гусар доказывал ей даже безопасность такого поступка, если она захватит с собой юхтовый бумажник Александра Ивановича. Но

Они страдали безуспешно.

Настасья Петровна умела держать себя с этими поклонниками красоты.

К этим-то людям – к Свиридовой и к ее мужу – я и решил обратиться с просьбой о моем неуклюжем приятеле. Когда я приехал просить за него, Александра Ивановича, по обыкновению, не было дома; я застал одну Настасью Петровну и рассказал ей, какого мне судьба послала малолетка. Через два дня я отвез к Свиридовым моего Овцебыка, а через неделю поехал к ним снова проститься.

– Что ты, брат, мне бабу тут без меня сбиваешь? – спросил меня Александр Иванович, встречая меня на крыльце.

– Чем я сбиваю Настасью Петровну? – спросил я в свою очередь, не понимая его вопроса.

– Как же, помилуй, для чего ты в филантропию ее затягиваешь? Какого ты ей тут шута на руки навязал?

– Слушайте его! – закричал из окна знакомый, немножко резкий контральт. – Отличный ваш Овцебык. Я вам за него очень благодарна.

– А взаправду, что ты за зверя такого нам завез? – спросил Александр Иванович, когда мы вошли в его чертежную.

– Овцебыка, – отвечал я, улыбаясь.

– Непонятный, брат, какой-то!

– Чем?

– Да совсем блажной какой-то!

– Это сначала.

– А может быть, под конец хуже будет?

Я рассмеялся, и Александр Иванович тоже.

– Да, парень, смех смехом, а куда его деть? Ведь мне, право, такого приткнуть некуда.

– Пожалуйста, дай ему что-нибудь заработать.

– Да ведь не о том! Я не прочь; да куда его определить-то? Ведь ты гляди, какой он, – сказал Александр Иванович, указывая на проходившего в эту минуту по двору Василия Петровича.

Я посмотрел, как тот шагает, заложа одну руку за пазуху свиты, а другою закручивая косицу, и сам подумал: «Куда бы его в самом деле, однако, можно было определить?»

– Пусть на порубке смотрит, – посоветовала мужу хозяйка.

Александр Иванович засмеялся.

– Пусть его будет на порубке, – сказал и я.

– Эх вы, дети малые! Что он там будет делать? Там ведь непривычный человек со скуки повесится. А мой згад – дать ему сто рублей, да пусть идет куда знает и пусть делает что хочет.

– Нет, ты его не отгоняй.

– Да, этак обидеть можно! – поддержала меня Настасья Петровна.

– Ну куда ж я его дену? У меня ведь все мужики; я сам мужик; а он...

– Тоже не барин, – сказал я.

– Ни барин, ни крестьянин, да и ни на что никуда не годящийся.

– Да отдай ты его Настасье Петровне.

– Право, отдай, – вмешалась она снова.

– Бери, бери, моя матушка.

– Ну и прекрасно, – сказала Настасья Петровна. Овцебык остался на руках Настасьи Петровны.

Глава десятая

В августе месяце, живучи уже в Петербурге, я получил в почтамте страховое письмо со вложением пятидесяти рублей серебром. В письме было написано:

«Возлюбленный брате!

Я нахожусь при истреблении лесов, которые росли на всеобщую долю, а попали на свиридовскую часть. За полгода дали мне жалованья 60 рублей, хотя еще полгода и не прошло. Видно, гарнитура моя под это подговорилась, но сия их великательность пусть будет втуне: я в сем не нуждаюсь. Десять целковых себе оставил, а пятьдесят, при сем прилагаемых, тотчас, без всякого письма, отошлите крестьянской девице Глафире Анфиногеновой Мухиной в деревню Дубы, – ской губернии, – ского уезда. Да чтоб не знали, от кого. Это та, которая будто жена моя: так это ей на случай, если дитя родилось.

Тут мое житье постылое. Делать мне здесь нечего, и я одним себя утешаю, что нигде, видно, нечего делать опричь того, что все делают: родителей поминают да свои брюхи набивают. Здесь все на Александра Свиридова молятся. Александр Иванович! – и человека больше ни для кого нет. До него все дорастаи хотят, а что он такое за суть, сей муж кармана?

Да, понял ныне и я нечто, понял. Разрешил я себе ”Русь, куда стремишься ты?“, и вы не бойтесь: я отсюда не пойду. Некуда идти. Везде все одно. Через Александров Ивановичей не перескочишь.

Василий Богословский».

Ольгина-Пойма.

3 августа 185... года.

В первых числах декабря я получил другое письмо. Этим письмом Свиридов извещал меня, что он выезжает на днях в Петербург с женою, и просил нанять ему удобную квартирку.

Дней через десять после этого второго письма Александр Иванович с женою сидели в премиленной квартире против Александрийского театра, отогревались чаем и отогревали мою душу рассказами о той далекой стороне,

Где сны золотые снились мне.

– А что же вы мне не скажете, – спросил я, улучив минуту, – что делает мой Овцебык?

– Брыкается, брат, – отвечал Свиридов.

– Как брыкается?

– Чудит. К нам не ходит, пренебрегает, что ли, все с рабочими якшался, а теперь и это, должно быть, надоело: просил, чтоб его в другое место отправить.

– Что ж вы-то? – спросил я Настасью Петровну. – На вас ведь вся надежда была, что вы его приручите?

– Чего надежда? От нее-то он и бегаает.

Я взглянул на Настасью Петровну, она на меня.

– Что будешь делать? Страшна, видно, я.

– Да как же это? Расскажите.

– Что говорить? – и говорить-то не про что – просто: пришел ко мне, да и говорит: «Отпустите меня». – «Куда?» – говорю. «Я, говорит, не знаю». – «Да чем вам худо у меня?» – «Мне, говорит, не худо, а отпустите». – «Да что же, мол, такое?» Молчит. «Обидел вас кто, что ли?» Молчит, только косицы крутит. «Вы, говорю, Насте сказали бы, чтоб вам худого делают». – «Нет, вы, говорю, пошлите меня на другую работу». Жаль стало мне его совсем выправить

– послал на другую порубку, в Жогово, верст за тридцать. Там он и теперь, – прибавил Александр Иванович.

– Чем же вы его так разогорчили? – спросил я Настасью Петровну.

– А уж Бог его знает: я его ничем не огорчала.

– Как мать родная за ним упала, – поддержал Свиридов. – Обшила, одела, обула. Ведь знаешь, какая она сердобольная.

– Ну, и что же вышло?

– Невзлюбил меня, – смеясь, сказала Настасья Петровна.

Зажили мы знатно с Свиридовыми в Петербурге. Александр Иванович все хлопотал по делам, а мы с Настасьей Петровной все «болтались». Город ей очень понравился; но особенно она полюбила театры. Всякий вечер мы ходили в какой-нибудь театр, и никогда это ей не наскучало. Время шло быстро и приятно. От Овцебыка я в это время получил еще одно письмо, в котором он ужасно злобно выражался об Александре Ивановиче. «Разбойники и чужеземцы, – писал он, – по мне, лучше, чем эти богатеи из русских! А все за них, и черевы лопаются, как подумаешь, что это так и быть должно, что все за них будут. Вижу я нечто дивное: вижу, что он, сей Александр Иванов, мне во всем на дороге стоял, прежде чем я узнал его. Вот кто враг-то народный – сей вид сытого мужлана, мужлана, питающего от крупниц своих перекатную голь, чтобы она не сразу передохла да на него бы работала. Сей вот самый христианин нашему нраву под стать, и он всех и победит и дондеже приидут отложеная Ему. С моими мыслями нам вдвоем на одном свете жить не приходится. Я уступлю ему дорогу, ибо он излюбленный их. Он хоть для кого-нибудь на потребу сдастся, а мое, вижу, все ни к черту не годится. Недаром вы каким-то звериным именем называли. Никто меня не признает своим, ”и я сам ни в ком своего не признал“. Затем он просил написать, жив ли я и как живет Настасья Петровна. Этим же временем из Вытегры к Александру Ивановичу зашли бондари, сопровождавшие вино с одного завода. Я их взял к себе в свободную кухню. Ребята все были знакомые. С ними мы как-то разговорились о том о сем, и до Овцебыка дошло».

– Как он у вас поживает? – спрашиваю их.

– Ничего живет!

– Действует, – подсказывает другой.

– А что он работает?

– Ну, какая от него работа! Так, невесть для чего его хозяин содержит.

– В чем же он время проводит?

– Слоняется по лесу. Указано ему от хозяина вроде приказчика рубку записывать, и того не делает.

– Отчего?

– Кто его знает. Баловство от хозяина.

– А здоровый он, – продолжал другой бондарь. – Иной раз возьмет топор да как почнет садить – ух! только искорья летят.

– А то на караул ходил еще.

– На какой караул?

– Брехал народ, что беглые будто ходят, так он по целым ночам стал пропадать. Ребята подумали, что и он не заодно ли с теми беглыми, да и подкарауль его. Как он пошел, а они втроем за ним. Видят, прямо на хутор попер. Ну, только ничего – все пустяки вышли. Сел, сказывают, под ракитой, насупротив хозяйских окон, подозвал Султанку, да так и просидел до зорьки, а зорькою поднялся и опять к своему месту. Так и в другой, и в третий. Ребята и бросили за ним смотреть. Почитай, до осени до самой так ходил. А после Успенья тут как-то ребята стали раз спать ложиться, да и говорят ему: «Полно, Петрович, на караул-то тебе ходить! Ложись-ко с нами». Ничего не сказал, а через два дни, слышим, отпросился: в другую дачу его хозяин поставил.

– А любили его, – спрашиваю, – ваши ребята-то?

Бондарь подумал и сказал:

– Ничего будто.

– Ведь он добрый.

– Да, он худа не делал. Рассказывать, бывало, когда что зачнет про Филарета Милостивого либо про другое что, то все на доброту сворачивает и против богатства складно говорит. Ребята его много которые слушали.

– И что же: нравилось им?

– Ничего. Тоже другой раз и смешно сделает.

– А что же бывает смешно?

– А вот, например, говорит-говорит про Божество, да вдруг – про господ. Возьмет горсть гороху, выберет что ни самые ядреные гороховины, да и расскажет их по свитке: «Вот это, говорит, самый на́больший – король; а это, поменьше, – его министры с князьями; а это, еще поменьше, – баре, да купцы, да попы толстопузые; а вот это, – на горсть-то показывает, – это, говорит, мы, гречкосеи». Да как этими гречкосеями-то во всех в принцев и в попов толстопузых шарахнет: все и сровняется. Куча станет. Ну, ребята, известно, смеются. Покажи, просят, опять эту комедию.

– Это он так, известно, дурашен, – подсказал другой.

Оставалось молчать.

– А из каких он будет? Не из комедиантов? – спросил второй бондарь.

– С чего это вы выдумали?

– Народ так-то баил. Миронка, что ли, сказывал.

Миронка был маленький, вертлявый мужик, давно разъезжающий с Александром Ивановичем. Он слыл за певца, сказочника и балагура. В самом деле, он иногда выдумывал нелепые утки и мастерски распускал их между простодушным народом и наслаждался плодами своей изобретательности. Очевидно было, что Василий Петрович, сделавшись загадкой для ребят, рубивших лес, сделался и предметом толков, а Миронка воспользовался этим обстоятельством и сделал из моего героя отставного комедианта.

Глава одиннадцатая

Была масленица. Мы с Настасьей Петровной едва достали билет на вечерний спектакль. Давали «Эсмеральду», которую ей давно хотелось видеть. Спектакль шел очень хорошо и, по русскому театральному обычаю, окончился очень поздно. Ночь была погожая, и мы с Настасьей Петровной пошли домой пешком. Дорогою я заметил, что моя винокурша очень задумчива и часто отвечает невпопад.

– Что вас так занимает? – спросил я ее.

– А что?

– Да вы не слышите, что я вам говорю.

Настасья Петровна засмеялась.

– А как вы думаете: о чем я задумываюсь?

– Трудно отгадать.

– Ну, а так, например?

– Об Эсмеральде.

– Да, вы почти отгадали; но не сама Эсмеральда меня занимает, а этот бедный Квазимодо.

– Вам жаль его?

– Очень. Вот настоящее несчастье: быть таким человеком, которого нельзя любить. И жаль его, и хотел бы снять с него горе, да нельзя этого сделать. Это – ужасно! А нельзя, никак нельзя, – продолжала она в раздумье.

Усевшись за чай, в ожидании возвращения к ужину Александра Ивановича, мы очень долго толковали. Александр Иванович не приходил.

– Э! Еще слава Богу, что в самом деле на свете таких людей не бывает.

– Каких? Как Квазимодо?

– Да.

– А Овцебык?

Настасья Петровна ударила ладонью по столу и сначала рассмеялась, но потом как бы застыдилась своего смеха и проговорила тихо:

– А ведь в самом деле!

Она придвинула свечку и пристально стала смотреть в огонь, прищуривая слегка свои прекрасные глаза.

Глава двенадцатая

Свиридовы пробыли в Петербурге до лета. Всё день за день откладывали за делами свой отъезд. Они уговорили меня ехать с ними вместе. Вместе мы ехали до нашего уездного города. Тут я сел на перекладную и повернул к матушке, а они уехали к себе, взяв с меня слово быть у них через неделю. Александр Иванович собирался тотчас же по приезде домой ехать в Жогово, где у него шла рубка и где резидировал теперь Овцебык, а через неделю обещал быть дома. У нас меня не ожидали и очень мне обрадовались... Я сказал, что с неделю никуда не выеду; мать вызвала моего двоюродного брата с женою, и начались разные буколические наслаждения. Так прошло дней десять, а на одиннадцатый или на двенадцатый, на самой ранней зоре, ко мне вошла несколько встревоженная моя старушка-няня.

– Что такое? – спрашиваю ее.

– От барковских, дружок, к тебе, – говорит, – прислали.

Вошел двенадцатилетний мальчик – и, не кланяясь, переложил раза два из руки в руку свою шляпенку, откашлялся и сказал:

– Хозяйка тебе велела, чтоб сичас к ней ехал.

– Здорова Настасья Петровна? – спрашиваю.

– Ну, а то что ей.

– А Александр Иваныч?

– Хозяина нетути дома, – отвечал мальчик, снова откашливаясь.

– Где ж хозяин?

– У Жогови... там, вишь, случай припал.

Я велел оседлать себе одну из матушкиных пристяжных лошадей и, одевшись в одну минуту, поехал шибкою рысью в Барков-хутор. Было только пять часов утра, и дома у нас все еще спали.

В домике на хуторе, когда я приехал туда, все окна, кроме комнаты детей и гувернантки, были уже отворены, и в одном окне стояла Настасья Петровна, повязанная большим голубым фуляром. Она растерянно отвечала головою на мой поклон и, пока я привязывал к коновязи лошадь, два раза махнула рукой, чтобы я шел скорее.

– Вот напасть-то! – сказала она, встречая меня на самом пороге.

– Что такое?

– Александр Иванович третьего дня вечером уехал в Турухтановку, а нынче в три часа ночи из Жогова, с порубки, вот какую записку прислал с нарочным.

Она подала мне измятое письмо, которое до того держала в своих руках.

«Настя! – писал Свиридов. – Пошли сейчас в М. на телеге парой, чтоб отдали письмо лекарю и исправнику. Чудак-то твой таки наделал нам дел. Вчера вечером говорил со мной, а нынче перед полдниками удавился. Пошли кого поумнее, чтоб купил все в порядке и чтоб гроб везли поскорее. Не то время теперь, чтобы с такими делами возиться. Пожалуйста, поторопись, да растолкуй, кого пошлешь: как ему надо обращаться с письмами-то. Знаешь, теперь как день дорог, а тут мертвое тело.

Твой Александр Свиридов».

Через десять минут я ехал крупной рысью к Жогову. Виляя по различным проселкам, я очень скоро потерял настоящую дорогу и едва к сумеркам добрался до жоговского леса, где шла рубка. Лошадь я совершенно измучил и сам изнемог от продолжительной верховой езды по жару. Въехав на поляну, на которой была караульная изба, я увидел Александра Ивановича. Он стоял на крыльце в одном жилете и держал в руках счеты. Лицо у него было, по обыкновению, спокойно, но несколько серьезнее обыкновенного. Перед ним стояло человек тридцать

мужиков. Они были без шапок, с заткнутыми за пояса топорами. Несколько в стороне от них стоял знакомый мне приказчик Орефьич, а еще далее – кучер Миронка.

Тут же стояла пара выпряженных коренастых лошадок Александра Ивановича.

Миронка подскочил ко мне и, взяв мою лошадь, с веселой улыбкой сказал:

– Эх, как упарили!

– Поводи, поводи хорошенько! – крикнул ему Александр Иванович, не выпуская счет из руки.

– Так так, ребята? – спросил он, обратясь к стоявшим перед ним крестьянам.

– Должно, так, Александра Иваныч, – отозвалось несколько голосов.

– Ну, и с Богом, коли так, – отвечал он крестьянам, протянул мне руку и, долго посмотрев мне в глаза, сказал:

– Что, брат?

– Что?

– Какову штучку-то отколол?

– Повесился.

– Да; сказнил себя. Ты от кого узнал?

Я рассказал, как было.

– Умница баба, что спосылала за тобою; я, признаться, и не вздумал. Да ты еще-то что знаешь? – понизив голос, спросил Александр Иванович.

– А еще я ничего не знаю. Разве еще что есть?

– Как же! Он тут, брат, было такую гармонию изладил, что унеси ты мое горе. Поблагодарил было за хлеб за соль. Да и вам с Настасьей Петровной спасибо: одра этакого мне навязали.

– Что же такое? – говорю. – Сказывай толком!

А самому страсть как неприятно.

– Писание, братец, начал толковать на свой салтык, и, скажу тебе, уж не на честный, а на дурацкий. Про мытаря начал, да про Лазаря убогого, да вот как кому в иглу пролезть можно, а кому нельзя, и свел все на меня.

– Как же он оборотил на тебя?

– Как?.. А так, видишь ли, что я в его расчислении «купец – загребущая лапа» и гречко-сеям надо меня лобанить.

Дело было понятно.

– Ну, а что же гречкосеи? – спросил я Александра Ивановича, смотревшего на меня значительным взглядом.

– Ребята, известно – ничего.

– То есть начистоту, что ли, всё вывели?

– Разумеется. Волки! – продолжал Александр Иванович с лукавой усмешкой. – Всё, будто не смысла, ему говорят: «Это, Василий Петрович, ты, должно, в правиле. Мы теперь как отца Петра увидим, тоже его об этом расспрашиваем», а мне тут это все больше шутя сказывают и говорят: «Не в порядках, говорят, все он гуторит». И прямо в глаза при нем его слова повторяют.

– Ну, что ж дальше?

– Я было это хотел так и спустить, будто тоже не понимаю; ну, а теперь, как такой грех случился, призывал их нарочно будто счета поверить, да стороною им загвоздку добрую закинул, что эти, мол, речи пустотные, их надо из головы выкинуть и про них крепко молчать.

– А хорошо, как они это соблюдут.

– Небось соблюдут, со мной не дурачатся.

Мы вошли в избу. На лавке у Александра Ивановича лежали пестрая казанская кошма и красная сафьяновая подушка; стол был накрыт чистой салфеткой, и на нем весело кипел самовар.

– Что это ему вздумалось? – проговорил я, усевшись к столику вместе с Свиридовым.
– Поди ж ты! С большого ума-то ведь чего не вздумаешь. Терпеть я не могу этих семинаристов.

– Третьего дня вы с ним говорили?

– Говорили. Ничего промеж нас не было неприятного. Вечером тут рабочие пришли, водкой я их потчевал, потолковал с ними, денег дал, кому вперед просили; а он тут и улизнул. Утром его не было, а перед полденками девчонка какая-то пришла к рабочим: «Смотрите, говорит, вот тут за поляной человек какой-то удавился». Пошли ребята, а он, сердечный, уж очерствел. Должно, еще с вечера повесился.

– А больше ничего неприятного не было?

– Ничегошеньки.

– Может, ты не сказал ли ему чего?

– Еще что выдумай!

– Письма он никакого не оставил?

– Никакого.

– В бумагах ты у него не посмотрел?

– Бумаг у него, кажется, и не было.

– А все бы посмотреть, пока полиция не приехала.

– Пожалуй.

– Что у него сундучок, что ли, был? – спросил Александр Иванович у стряпки.

– У покойника-то? – сундучок.

Принесли маленький незапертый сундучок. Открыли его при приказчике и стряпке. Ничего тут не было, кроме двух перемен белья, засаленных выписок из сочинений Платона да окровавленного носового платка, завернутого в бумажку.

– Что это за платок такой? – спросил Александр Иванович.

– А это как он, покойник, руку тут при хозяйке порубил, так она ему своим платочком завязала, – отвечала стряпка. – Тот он самый и есть, – добавила баба, посмотрев на платок поближе.

– Ну, вот и все, – проговорил Александр Иванович.

– Пойдем посмотреть на него.

– Пойдем.

Пока Свиридов одевался, я внимательно рассмотрел бумажку, в которой был завернут платок. Она была совершенно чистая. Я перепустил листы Платоновой книги – нигде ни малейшей записочки; есть только очеркнутые ногтями места. Читаю очеркнутое:

«Персы и афиняне потеряли равновесие, одни слишком распространивши права монархии, другие – простирая слишком далеко любовь к свободе».

«Вола не поставляют начальником над волами, а человека. Пусть царствует гений».

«Ближайшая к природе власть есть власть сильного».

«Где бесстыдны старики, там юноши необходимо будут бесстыдны».

«Невозможно быть отлично добрым и отлично богатым. Почему? Потому что кто приобретает честными и нечестными способами, тот приобретает вдвое больше приобретающего одними честными способами, и кто не делает пожертвований добру, тот менее расходует, чем тот, кто готов на благородные жертвы».

«Бог есть мера всех вещей, и мера совершеннейшая. Чтобы уподобиться Богу, надо быть умеренным во всем, даже в желаниях».

Тут есть на поле слова, слабо написанные каким-то рыжим борщом рукой Овцебыка. С трудом разбираю: «Васька глупец! Зачем ты не поп? Зачем ты обрезал крылья у слова своего? Не в ризе учитель – народу шут, себе поношение, идее – пагубник. Я тать, и что дальше пойду, то больше сворую».

Я закрыл Овцебыкову книгу.

Александр Иванович надел свой казакин, и мы пошли на поляну. С поляны повернули вправо и пошли глухим сосновым бором; перешли просеку, от которой начиналась рубка, и опять вошли на другую большую поляну. Здесь стояли два большие стога прошлогоднего сена. Александр Иванович остановился посреди поляны и, вобрав в грудь воздуха, громко крикнул: «Гоп! гоп!» Ответа не было. Луна ярко освещала поляну и бросала две длинные тени от стогов.

– Гоп! гоп! – крикнул во второй раз Александр Иванович.

– Гоп-па! – отвечали справа из леса.

– Вот где! – сказал мой спутник, и мы пошли вправо. Через десять минут Александр Иванович снова крикнул, и ему тотчас отвечали, а вслед за тем мы увидели двух мужиков: старика и молодого парня. Оба они, увидя Свиридова, сняли шапки и стояли, облокотясь на свои длинные палки.

– Здорово, христиане!

– Здравствуй, Ликсандра Иваныч!

– Где покойник-то?

– Тутотка, Ликсандра Иваныч.

– Покажите: я не заметил что-то места.

– Да вот он.

– Где?

– Да вот он!

Крестьянин усмехнулся и показал вправо.

В трех шагах от нас висел Овцебык. Он удавился тоненьким крестьянским пояском, привязав его к сучку не выше человеческого роста. Колени у него были поджаты и чуть не доставали до земли. Точно он на коленях стоял. Руки даже у него, по обыкновению, были заложены в карманы свитки. Фигура его вся была в тени, а на голову сквозь ветки падал бледный свет луны. Бедная это голова! Теперь она была уже покойна. Косицы на ней торчали так же вверх, бараньими рогами, и помутившиеся, остолбенелые глаза смотрели на луну с тем самым выражением, которое остается в глазах быка, которого несколько раз ударили обухом по лбу, а потом уже сразу проехали ножом по горлу. В них нельзя было прочесть предсмертной мысли добровольного мученика. Они не говорили и того, что говорили его платоновские цитаты и платок с красною меткою.

– Вот тебе и все: был человек, как его и не было, – сказал Свиридов.

– Ему гнить, а вам жить, батюшка Ликсандра Иваныч, – проговорил старичок заискивающим сладеньким голоском.

Он тоже говорил, что ему гнить, а Александрам Ивановичам жить.

Душно тут было, в этом темном лесном куточке, избранном Овцебыком для конца своих мучений. А на поляне было так светло и отрадно. Месяц купался в лазури небес, а сосны и ели дремали.

Париж.

28-го ноября 1862 г.

Житие одной бабы (Из гостомельских воспоминаний)

Викентию Коротыньскому

*Ивушка, ивушка,
Ракитовый кусток!
Что же ты, ивушка,
Не зелена стоишь?*

*– Как же мне, ивушке,
Зеленой быть?
Срубили ивушку
Под самый корешок.*

Русская песня

Часть первая

I

Маленький мужичонко был рюминский Костик, а злющий был такой, что упаси Господи! В семье у них была мать Мавра Петровна, Костик этот самый, два его младшие брата, Петр и Егор, да сестра Настя. Петровна уж была-таки древняя старуха, да и удушье ее мучило, а Петька с Егоркой были молодые ребятки и находились в ученье, один по башмачному мастерству, а другой в столярах. Оба были ребятки вострые и учились как следует. Дома оставалась только сама Петровна с Настей да с Костиком. Все они в ту пору были еще крепостными и жили в господском дворе. Панок их был у нас на Гостомле из самых дробных; всего восемнадцать душ за ним со всей мелкотой считалось, и все его крестьяне жили тут же в его дворе на месячине, – земли своей не имели. Житье было известно какое – со всячинкой; но больше всего донимала рюминских крестьян теснота. Пускай правда, что мужик не привык к кабинетам – всё у него в одной избе, – да по крайности там уже всё своя семья, а тут на рюминском дворе всего две избы стояли, и в одной из них жило две семьи, а в другой три. Теснота, ссоры промеж себя, ябеда с сердцов друг на друга, сквернословие, – такое безобразие шло, что не приведи Бог! Дети тут так и росли в этой срамоте, и Костик тут вырос, глядячи, как покойный отец сухотил весь век свою жену, пока не вогнал ее в удушье. А Мавра Петровна отличная была женщина. Она была взята из однодворок и пошла в крепость с нужды горькой, потому что у нас в округе иные вольные в ту пору еще хуже крепостных живали: бедность страшная. Старик Минаич рассказывал, что в молодые годы Петровна была первая красавица по всему Труфанову, и можно этому верить, потому что и в пятьдесят лет она была очень приятная старуха: росту высокого, сухая, волосы совсем почти седые, а глаза черные, как угольки, и такие живые, умные и добрые. Доброте ее меры не было: всем она все прощала. Муж ее тиранил, увечил, и пьяница к тому же был; а она, как овечка Божия, все ему угождала, и слова от нее на мужа никто не слышал. Все, бывало, его ублажает: «Антонович да Антонович, такой-сякой немазанный, утихомирься ты, перекрестись, испей водицы!» Ни жалобы, ни свары от нее он

никогда не видал. А как помер ее муж, так она его оплакала горькими слезами и на могилку все ходила и голосила голосом: «Касатик ты мой миленький! на кого же ты меня покинул? Кто меня приголубит? Кто меня пожалеет?» Словно как и в самом деле она от него жалость какую в своей жизни видала.

Как умер Антоныч, Мавра Петровна сама стала о детях печалиться. От Костика ей никакого почтения не было: разбойник разбойником вышел. Видит Петровна, что никакого пути так не будет, упросила своего панка отдать Петьку и Егорку в ученье по мастерству. Панок согласился – ему это выгодно было, потому что он малоземельный был, а мастеровой человек больше может оброку платить. Насчет же воли теперешней тогда хоть и ходили у нас слухи, да только никто ей не верил, ни господа, ни крестьяне. Скажешь, бывало, кому: «Вот скоро воля будет», – так только рукой махнет: «Это, – говорили, – улита едет, – когда-то будет!» Отвела Петровна своих сыновей и сама их к местам определила: Петьку на четыре года, а Егорку на шесть лет. У нас не берут на короткие сроки, потому что года два сначала мальчика только «уютжат», да «шпандорют», да за водой либо за водкой посылают, а там уж кой-чему учить станут.

Как вернулась Петровна домой, стала она думать и о Насте. А Насте в ту пору уж семнадцатый годок пошел. Вся она была в мать и характером в нее пошла, только еще, кажется, была безответнее. С собой она была не красавица, никто на нее не заглядывался, а таки пригожая была девушка. Высокая была, черноволосая, а глаза черные, щечки румяные, губки розовые; сухощава только была, тем и не нравилась, не зарились на нее ребята. У нас все в моде, чтоб девка была, что называется, «разное-мое», телеса чтоб были; ну, а у Насти этих телес не было, так ее и звали Настька-сухопарая. У нас все всякому своя кличка приложена, и мужикам, и бабам, и девкам: Гришка-жулястый, Матюшка-раскаряка, Аленка-брюхастая, Анютка-круглая, Настька-сухопарая – всё так. Иной раз за этими кличками и крещеное имя совсем забудут. Зовут все девку «круглая» да «круглая», а как придется по имени назвать – никто и не знает. И клички же бывают! От иной с души мутит, а иную и сказать срамно; а с привычки-то ничего. Впрочем, Настя не то чтобы уж кощей костлявый была, только телес этих много не имела, а то ничего – девка была пригожая.

Думала, думала Петровна, что ей с Настей делать? и надумала просить свою пани, чтобы та взяла ее в горницу. В магазин в ученье Петровна боялась отдать дочку. «Девка безответная, – думала она, – только ленивый ее не набьется; а там еще подведут под такое, что ”за срам голова згинет“», – не отдала. «В хоромах все-таки лучше; по крайности на глазах у меня, а от сквернословия от здешнего подальше». Так и сделала. Стала Настя днем жить в комнате у барыни, а ночевать ходила к матери. Чулан тут у них в сенях был из дощечек отгорожен в уголке; там их рухлядь кое-какая стояла: две, не то три коробки, донца, прялки, тальки, что нитки мотают, стан, на котором холсты ткут, да веретье – больше у них ничего не было. В этом чуланчике они спали лето и зиму. У нас в Гостомле есть много народу, что от тесноты в избах целую зиму спят по чуланам да по пунькам либо по подклетям. Чуланчики такие, вроде деревенских часовен, погородят из хворостового плетня, либо просто на дворе, либо под сараем, и это называют «пуньками». Как женится кто в семье, сейчас и заводится такой пунькой – для молодой жены. «Вот, мол, тебе, касатка, удобьце! живи, радуйся, назад не оглядывайся!» И живут в этих апартаментах, пока детвора пойдет. А тогда уж с ребятками на зиму мать переходит в избу. Тут и старики, тут и муж с женой, тут и девушки взрослые, все это и на виду и на слуху, – такое безобразие. А куда денешься-то? Тут оно и «снохачество» это у нас заводится, тут и дети невесть чему до поры до времени поизучиваются, а опять-таки подеться некуда! Теснится народишко на просторной Руси, и трудно ему рассмотреть в волоковое окно свои нечисти.

Костик спал в господской конюшне. Говорили, что он там коммерцией занимался: овес у лошадей выгрбал да продавал; жеребца господского на гуменник выводил к крестьянским кобылам, – по полтиннику за лошадь брал. У нас охотники до лошадей, и коневье все рослое

у мужиков; а жеребцов не держат, потому что беспокойства с ними много; ни пахать на нем, ни в табун его выпустить нельзя. Да и в дворе тоже кому за ним смотреть? Иную пору в дворе остаются одни бабы, – где им водиться с жеребцом? – ни вывести его, ни запречь. Вырвется, других переранит и сам изранится, а то и совсем еще забежит. А у нас народ теплый, «в глазах деревня сгорит». Об нас по целой по России ходит поговорка, что «Орел да Кромы – первые воры, а Карачев на придачу». А что по обапольности, так наших мужиков было распоряжение и на ярмарки не пускать, потому что купцы даже ездить отказывались. Баловство было большое в нашем народе, и истари-таки оно трясется у нас на Гостомле. Но я в другой раз расскажу, как и отчего все это распочалось и выросло. Теперь говорю только, что у нас воровство, кажись, и за грех не почиталось; а если кто неловко украдет да поймают, так до суда редко доходило, сейчас свой суд короткий: отомнут ребра, так что век не человек, да и пустят на карачках ползать. Сами о себе гостомельцы, бывало, говорят: «Наш народ шельма прожженная».

Так и жил Костик и держался от семьи, словно волк какой, все стороною, особничком. Правда ли, не правда ли, что он торговал и овсом, и водкой, и господскими жеребцами, Бог его знает, потому что в маленьком хуторе все один другого поедом ели, избрехались, несли друг на друга всякую всячину, – а только деньги у него были. Толковали, что рублей со сто он имел, и надо полагать, что это правда, потому что дворник с курского шоссе ему был должен и кузнец с почтовой станции. Это все знали, потому что Костик и с дворником и с кузнецом тесную компанию водил; а он не любил зря с кем попало компаньонствовать. Не то чтобы он горд был или чванлив, а так все любил знаться с теми, с кем можно дела какие-нибудь делать. Спроста он ничего не делал. По обапольности у него все было знакомство с садовниками, да с шинкарями, да с дворниками с большой дороги, да с мельниками – всё с таким народом. С своими он был неразговорчив, разве только как пьяный вернется, так кому-нибудь буркнет слово; а то все ходит понурою да свои усенки покусывает. Обшивала и обмывала его Настя, а почету ей или хоть внимания, хоть слова ласкового никогда от него не было.

Вздумал Костик жениться на двадцать шестом году. Он был старше Насти лет на восемь. Выбрал он себе жену отличную, звали Аленой. Она была из соседнего хутора, из крестьянской семьи. Смирная была девушка и работящая. Сделалось это дело; привез Костик молодую жену от венца в барской бричке и стал жить с нею в том чуланчике, где мать с сестрою жили. Остепенился будто сначала, а тут дочь у него родилась, да неблагополучно. Бог ее знает, чем-то повредила бабка Алену при родах. Ребенок медленно шел, так она повела Алену в печку, спаривала там ее, встряхивала, косу ее заставляла жевать, изгадила бабу так, что никуда она не стала годиться. А у нас в городе жил старичок, к купечеству он был приписан, но ничем не торговал, а занимался леченьем; звали его Сила Иванович Крылушкин. Удивительный был старичок: добрый такой, что и описать нельзя. Про его доброту святую целая губерния знала. И такой он был благообразный, такой миловидный, что, бывало, как положит он кому-нибудь на голову свою бледную руку, так и хочется поцеловать эту руку. Точно патриарх святой. В лечении он был очень искусен, и больных к нему навозили с разных сторон, из сел и из городов. Лечил он всех у себя в доме, и все больше одними травами, которые сам и собирал весною. От всяких болезней лечил Сила Иванович и всегда успешно. Народ говорил, что «Крылушкину Бог помогает», и верил в него как в слугу Божьего. Мавра Петровна тоже знала про Крылушкина и не раз у него бывала. И стала она приставать к сыну: «Свези да свези ты жену к Силе Ивановичу». А он все отпирается, что денег нет.

– Бога ты, Костя, не боишься! Денег у тебя для жены нет. Неш она у тебя какая ледащая, или не тебе с ней жить, а соседу? Глянь ты: баба сохнет, кровью исходит. Тебе ж худо: твой век молодой, какая жизнь без жены? А еще того хуже, как с женою, да без жены. Подумай, Костя, сам!

Думал, думал Костик и надумался. Разобрал, что худо жить с большой женой – невыгодно. Повез Алену к Крылушкину. Вернулся оттуда злощий-презлющий, – денег ему жаль

было, что отдал за жену Крылушкину. А и денег-то всего Крылушкин двадцать пять рублей на ассигнации взял. У нас и до сих пор народ все еще на ассигнации считает. Не говорят, например, «рубль серебром», а «три с полтиной старыми». Стал Костик без жены все разъезжать по ночам верхом на барской лошади к своим приятелям по обоим сторонам, и познакомился он у почтового кузнеца с однодворцем Прокудиным. Прокудин был человек пожилой и достаточный: имел он у себя одиннадцать лошадей, которых посылал в извоз, и маслобойню, на которой бил конопляное масло. Дело это у нас очень выгодное, потому что конопля кругом море, а мужички народ и недостаточный и таки беззаботный. Выдерет конопля, обмолотит, ссыплет в анбарчик, и черт ему не брат, – цены своему товару не сложит. Купцы, зная это, уж и не ездят в деревни, пока не станут чиновники собирать подушных. Потому что не укупишь тут у мужика ничего. Пойдет один на другого опираться: «Да мы-ста не знаем; да какие цены, Бог е знает; как люди, так и мы. Вон наши большаки еще не продавали». Только от них и добьешься. А как потребуют подушное, так тут забирай у них, почем хочешь. Купцы на этом большую пользу для себя имеют; но больше в этом деле корыстуются свои сельские большаки, то есть этикие богатенькие мужички, что капиталец кой-какой имеют или свои маслобойни. Прокудин был не из самых богатых; только еще на разживу пошел. Собрал денег с извоза и маслобойню выстроил, а на торговлю-то уж не осталось. Он бил масло из чужой конопля из-за платы да из-за жмыха. Плата у нас за выбивку масла пустая, потому что много уж очень маслобоен, но жмых дорог в хозяйстве: им и лошадей кормят и свиней, да и люди его, по нужде, к муке подмешивают. Однако дело это с маслобойней не тешило Прокудина. Все хотелось ему так же, как другие, бить масло из своей конопля, потому что тут барыша бывает рубль на рубль.

– Так-то бы оно, Константин Борисыч, было бы, к примеру, антиреспеее, – говорил он Константину, сидя с ним за штофом у почтового кузнеца.

– Это точно, что глаже было бы, – отвечал Костик.

Смекнул это дело Костик, отобрал свои деньги с процентов у кузнеца и у дворника, и составили они с Прокудиным компанию. Прокудин был темный мужик, ну да и Костик не промах. Попытали они было сначала друг друга за дверь вывести, да и бросили, увидав, что нашла коса на камень. Дело у них с самого с зимнего Николы пошло крупное – на рубль два наживали. Костик всякий вечер уходил на маслобойню и по целым ночам там сидел. Учитывал он Прокудина лучше любого контролера. Так прошла зима, свезли масло в Орел, продали его хорошей ценою, поделили барыши, и досталось Костику на его долю с лишком двести рублей. Стали мужики соседние Костику кланяться и стали его называть Константином Борисычем. Алена тем временем выздоровела и домой вернулась, только все молилась мужу: «Не тронь ты меня, Борисыч; дай мне с силой собраться». Это Костика сердило, и все он попрекал жену ее лечением. А она, я вам сказал, безответная была – все молчала. У нас много есть таких женщин по селам, что вырастает она в нужде да в загоне, так после терпит все, словно каменная, и не разберешь никак: не то она чувствует, что терпит, не то и не чувствует. Настя тоже была терпеливая, только эта все горячо чувствовала. Бывало, скажет ей Петровна: «Плоха я становлюсь, Настасьюшка! На кого я тебя покину? Хоть бы мне своими руками тебя под честной венец благословить». А она так и побледнеет: «Живи, – говорит, – матушка! живи ты; не хочу я замуж; я с тобою буду». – «Дитя ты мое глупое!» – скажет, бывало, Петровна, да и закашляется. Совсем стало ее одолевать удушье, а осенью, как начались туманы да слякоть, два раза так ее прихватило, что думали, вот-вот душа с телом на рсстали. Снежок в эту осень рано выпал; к Михайлову дню уж и санный путь стал. На Михайлов день у нас праздник. Петровна выпросила у барыни Настю, и пошли они к обедне, и Костик пошел, только особо, с мирошником Михайлой. В церкви, как отошла обедня, Прокудин запросил их к себе на обед. Петровна было отказывалась: «Дело, – говорила, – мое слабое, где мне по гостям ходить? Благодарим на добром слове, на привет ласковом!» Но Костик глянул на мать, глянул на сестру, они и пошли. Сестра его страсть как боялась, а мать хоть и не боялась, но часто по его делала, «абы

лихо спало тихо». Зашли все к Прокудину. Угощение было богатое: пироги, щи со свежиной, похлебка с потрохами, гуси жареные, солонина духовая с хреном, гусиные полотки, а после закуски разные: орехи, подсолнухи, столбики с инбирем и круглые прянички, а детям коньки пряничные. При этом, разумеется, было и выпито вдоволь и водки, и пива, и домашней браги, и меду сыченого. Костик так нахлебтался, что на ногах не стоял и молот всякий вздор. Настя с молодками да с девушками на верхнем полу сидели. Ее все расспрашивали, что да как там у вас в господском доме? Какие порядки? Кто ябедой или переносами занимается? Какова невестка? Гуляет она с кем или нет? Но у Насти, бывало, ни о ком худого слова не вытянешь. Тихая была девка и на словах будто не речиста; а как нужно увернуться, чтобы кого словом не охаять, так так умела она это сделать, что никому и невдомек, что она схитрила. Петровну Прокудин усадил в красный угол и все за ней ухаживал и дочерей к ней подводил, и внуков, и сына Григорья. Григорью было лет двадцать. Несуразный он был парень: приземистый, голова какая-то плоская, нос крошечный с пережабиной и говорил так гугняво, неприятно. В деревне все считали его дурачком и звали Гришкой-лопоухим. «Вот мой и наследник! – сказал Прокудин, указывая Петровне на Гришку. – Вот для кого и бьюсь и стараюсь. Умру, с собой не возьму ничего, все ему останется».

Вечером запрет Прокудин сани и отправил гостей домой; лошадей правил Гришка, а Костик пьяный во все горло орал песни, и все его с души мутило. Рада была Настя, что домой вернулась; надоело ей это гостеванье и пьянство. К работе мужичьей она была привычна, потому что у нас мелкие панки в рабочую пору всех на поле выгоняли, даже ни одной души в доме не останется. Настя умела и жать, и греть за косой, и снопы вязать, и лошадей править, и пеньку мять, прясть, ткать, холсты белить; словом, всю крестьянскую работу знала, и еще как ловко ее справляла, и избы курной она не боялась. Даже изба ей была милее, чем бесприютная прихожая в господской мазанке; а безобразие, пьянство да песни пьяные страсть как ее смущали. Она очень любила, коли кто поет песню из сердца, и сама певала песни, чуткие, больные да ноющие. Большая она была песельница, и даже господа ее иной раз вечером заставляли петь. Только она им не пела своих любимых песен, эти песни она все про себя пела, словно берегла их, чтоб не выпеть, не израсходовать. Пойдет, бывало, за водою к роднику, – ключ тут чистый такой из-под горки бил, – поставит кувшины под желоб, да и заведет:

Из-за бору, бору зеленова
Протекала свет быстрая речка,
Стучала, гремела по камням острым,
Обрастала быстра речка калиной, малиной.
На калиновом мосточке сидела голубка,—
Ноженьки мыла, полоскала,
Сизые перышки перебирала,
Бедную головушку чесала,
Расчесав головушку, взворковала:
«Завтра поутру батюшка будет...
Хоть он будет иль не будет, тоска не убудет:
Вдвое, втрое у голубки печали прибудет».

II

Ноябрь уж приходил к концу, началась Филипповка; дорога стояла отменная; заказано было собирать подушное. Костик все чаще навещал Прокудина; сидели, водочку вместе попиwali, а о деле, насчет конопли, ни слова. Костик все мостился к Прокудину опять в компанию,

а прямо сказать не хотел, потому что знал, какой Прокудин прижимистый. Прокудин тоже молчал. Костиков капитал ему бы и крепко теперь был к руке, да на уме он что-то держал и до поры до времени отмалчивался. Костик видел, что Прокудин неспроста что-то носом водит, а разгадать его мыслей никак не мог. Надоело ему это до смерти, злился он, как змей лютый; а все по вечерам заходил к Прокудину. Стали большаки конопельку ссыпать, и Прокудин возов с пяток ссыпал. Видит Костик, что дело без него обходится, не стерпел, пошел к Прокудину. Пришел вечером, а Прокудина дома нету.

– Где Исай Матвейч? – спросил Костик.

– Нетути, родимый! у масляницу пошел.

Пошел и Костик в масляницу.

– Здравствуй, Матвейч!

– Здравствуй, Борисыч!

– Помогай Бог.

– Спасибо.

– Аль пущать масляницу задумал?

– Хочу пущать в четверг.

– Доброе дело.

– Что Господь одарит.

– Матвейч! вечерять пора. Ужинать собрали, – крикнула через окно жена Прокудина.

– Ладно. Вечеряйте, мы после придем; а ты, Гришутка, иди; я сам тут печку покопаю.

Григорий встал, закинул в печку новую охапку прошлогодней костры, передал отцу ожег, исправлявший должность кочерги, и вышел. Прокудин почесал бороду, лег на костру перед печкою и стал смотреть, как густой, черный дым проникал сквозь закинутую в печь охапку белой костры, пока вся эта костра вдруг вспыхнула и осветила всю масляницу ярким полемом.

– Ух! шибнуло как, – сказал Прокудин, заслоня от жару ладонью свое лицо.

Костик ничего не ответил на это замечание, только встал, закурил свою коротенькую трубочку, лег возле Прокудина на брюхо и пристально в него воззрился.

– Что ж, как, Матвейч? – спросил Костик.

– Ась!

– Как, мол, дела-то будут?

– Какие?

– Да известно какие: по маслбойке.

– А уж как Господь приведет.

– Вместе, что ли, опять будем?

– Эт-та с тобой, что ли?

– Ну да.

Прокудин задумался. Костик раза два курнул, сплюнул и опять спросил:

– Ну, как же?

– Да оно бы, известно, ничего; да...

– Что?

– Дела вон ишь ты какие.

– Какие ж дела?

– Все брешут: то на бар, то воля; в степи, пожалуй, погонят. Кто его знает-то!

– Это все пустяки! – отвечал Костик, ясно понимавший, что Прокудин увертывается от прямого ответа.

– Пустяки, пустяки, а иной раз, гляди, на экую штуку наскочишь. Я это тебя ж пожалеючи говорю.

– Ты вот что, Матвейч! Ты не михлюй, а говори дело: хочешь али не хочешь компанию опять иметь?

- Да не гужо, чудака ты этакой!
- Стало, не хочешь?
- Вот пристал!

Костик поднялся, взял с лавки шапку и сказал:

- Ну, на том прощенья просим, Исая Матвейч!
- Постой! Куда ты? – крикнул Прокудин.
- Ко двору пора.
- Постой, сичас Гришка придет, пойдем повечеряем; хоть выпьем по крайности вместе.
- Нет, пойду ко двору.
- Экой неуломный!
- Прощай!

Костик ушел и целую неделю не приходил к Прокудину. Прокудин пустил в ход маслобойню и закупал богатой рукой коноплю. Костик все это слышал и бесился. Масло стояло высоко, а коноплю Прокудин забирал без цены: барыши впереди были страшные. Думал было Костик обратиться к кому-нибудь другому из мельников, да все как-то не подходило, и капитала ему всем не хотелось оказывать. А барыши прокудинские ему в горле стояли. Прокудин тоже боялся, чтобы Костик не подсударил своего капитала кому другому, и не спускал его с глаз. Капиталу у Прокудина тоже невесть что было в сборе; он только нарочно подзадоривал Костика большими закупками конопли, а в деньгах на оборот крепко нуждался. Костик же этого никак сообразить не мог и все думал, что Прокудин, должно быть, обогрел его при прошлогоднем расчете, и еще больше сердился.

Прошло этак дней восемь, мужички тащили к Прокудину коноплю со всех сторон, а денег у него стало совсем намале. Запрет он лошадь и поехал в Ретяжи к куму-мельнику позаняться деньгами, да не застал его дома. Думал Прокудин, как бы ему половчее обойтись с Костиком? А Костик как вырос перед ним: ведет барских лошадей с водопою, от того самого родника, у которого Настя свои жалостные песни любила петь. Завидел Прокудин Костика и остановил лошадь.

- Здравствуй, – говорит, – Борисович!
- Здравствуй! – отвечал Костик.
- Что тебя не видать?
- Зачем видеть-то?
- Как зачем? Неш все по делу! Можно, чай, и так повидаться.
- Некогда, дядя! – и Костик дернул лошадей.
- Слушай-кась! Постой! – крикнул Прокудин.
- Чего?
- Да вот что! Ты побывай ко мне.
- Ладно.
- Нет, исправда побывай.
- За коим лядом?
- Дело есть.
- Полно шутки шутить!
- Нет, право-слово, дело есть.
- А дело есть, так говори.
- Что тут за разговор на улице.
- Пойдем в избу.
- Бревен там лишних много, в вашей избе-то. Побывай ко мне сегодня. А то, малый, жалеть опосля будешь.
- Да какое там дело?
- Ну, какое дело! Приходи, так узнаешь.

Костик ничего не ответил и повел лошадей; Прокудин тоже хлопнул вожжей и поехал ко двору.

Поужинал Костик, надел тулуп и пошел к Прокудину. Все уж спали; он стукнул в окно масляницы; Прокудин ему отпер. Костик, не поздоровавшись, сел и спросил:

– Ну, какое там дело?

– Погоди, прыток больно. Вот выпьем да капусткой закусим, тогда и дело будет.

Выпили и закусили.

– У меня, брат, нынче все как-то живот болит, – сказал Прокудин.

– Ты говори, дело-то у тебя какое до меня? – отвечал Костик.

– Такое дело, что жаль мне тебя, старого друга: вот какое дело!

– Благодарим, – отвечал Костик совершенно серьезно.

– Право.

– Да я ж тебя и благодарю.

– Хоть мне и не надобен твой капитал и не под руку он мне, – слать Господи, свой достаток есть, – ну, иначе, вижу, что надо тебя приютить в товарищи.

Костик молчал. Он смекал, что Прокудин что-то надумал.

– Выпьем-ка по другому, – сказал Прокудин. Выпили.

– Еще одну.

И еще по одной выпили.

– Только вот что, – сказал Прокудин.

– Что?

– У меня есть до тебя просьба. Да вряд, парень, сослужишь.

– Говори, какая такая просьба?

– А если как сослужишь, то не то, что то есть вот эта компания, – это: тьфу! – Прокудин плюнул, – а по гроб жизни тебя не забуду. Что хочешь, во всем тебе не откажу.

– Да говори, говори.

– Словом скажу: считаться не будем, как послужишь.

– Да полно калякать-то: говори, в чем дело.

Прокудин воззрился в Костика, помолчал и потом тихонько сказал:

– Парня хочу женить.

– Ну.

– Невесту надоть достать.

– Что ж, есть на примете, что ли?

– Есть.

– Девка?

– Знамо, девка.

– Знамо! А может, вдова.

– Девка.

– За чем же дело стало?

– Да за тобой.

– Как за мной?

– Гришутка парень смирный да непоказной. Из наших ему невест не выберешь: всё сорви-головы девки.

– Стало, из чужих насмотрел?

– Из чужих.

– Дальняя, откуда?

– Нет, сблизу. Да не в том штука. А тебя надо просить: ты парень ловкой; без тебя этого дела не обделаешь.

– Да чия ж такая будет эта девка?

– А вот выпьем, да и скажу.

Выпили по четвертому стакану. В голове у Костика заходило. Он закурил трубку и спросил:

– Ну, чья?

– Да что, брат! не знаю, и говорить ли? И тебе, должно, этому делу не помочь. А уж уважал бы я тебя; то есть вот как бы уважал, что навек бы ты пошел. Только что нет, не действуешь ты, – говорил Прокудин, выгадывая время, чтобы Костика покрепче разобрало вино и жадность. – А ты ловок, шельма, на эти дела!

– Да говори! – крикнул Костик. – Знаю я эту девку, что ли?

– Знаешь, – отвечал, прищуривая глаза и улыбаясь, Прокудин.

– Кто ж она такая?

– Честная девка.

– Честная! да откуда?

– Из хорошей семьи, из разумной.

– Как ее звать?

– Настасьею. Догадался, что ли? А по батюшке Борисовной, коли уж ты нонеча недогадлив стал.

Костик захохотал.

– Это-то дело! – вскрикнул он. – Ну, дело! Это дело все равно что сделано.

– Ой?

– Разумеется.

– Не врешь, парень? – проговорил Прокудин, улыбаясь и наклоняясь к Костику.

– Разводи толковище-то!

Они поцеловались, и еще по стакану выпили, и еще, и еще, и так весь штоф высушили. Не мог Костик нарадоваться, что этим дело разъяснилось. Он все думал, что не имеет ли Прокудин какого умысла принять его не в половину, а на малую часть или не загадает ли ему какого дела опасного. С радости все целовался пьяный брат, продавши родную сестру за корысть, за прибыли.

III

Костик недолго собирался. На другой же день он вызвал сестру в чулан и объявил ей свою волю. Девка так и ахнула.

– Это за гугнявого-то? – спросила она. – Что это вы, братец! шутите?

– Не шучу, а ты пойдешь за него замуж. Сегодня Прокудин господам деньги внесет.

– Я не пойду, братец, – тихо отвечала робкая Настя; а сама как полотно белая стала.

– Что-о? – спросил Костик и заскрипел зубами. – Не пойдешь?

– Не могу, братец, – отвечала Настя, не поднимая глаз на брата.

– С чего это *не могу*? – опять спросил Костик, передразнивая сестру на слове «не могу».

Настя молчала.

– Говори, черт тебя абдери! – крикнул Костик.

Настя все молчала.

– Стой же, девка, я знаю, что с тобой делать!

– Не сердитесь, братец.

– Говори: отчего не пойдешь за Григория?

– Противен он мне; смерть как противен!

– Н-да! Вот оно штука-то! Ну, это вздор, брат. С лица-то не воду пить. Это не мадель – баловаться.

– Братец! Голубчик мой! Вы мне наместо отца родного! – крикнула Настя и, зарыдав, бросилась брату в ноги. – Не губите вы меня! Зреть я его не могу: как мне с ним жить?..

– Молчать! – крикнул Костик и, оттолкнув сестру ногою в угол чулана, вышел вон. А Настя, как толкнул ее брат, так и осталась на том месте, оперлася рукой о кадушечку с мукой и все плакала и плакала; даже глаза у нее покраснели.

– Что тебе, Настюша? – спросила ее Алена.

– Ох, невестушка милая! что они со мной хотят делать: за Гришку за Прокудина хотят меня выдать; а он мне все равно что вон наш кобель рябый. Зреть я его не могу; как я с ним жить стану? Помогите ты мне, родная ты моя Аленушка! Наставь ты меня: что мне делать, горькой? – говорила Настя, плачучи.

Стала Алена и руки опустила. Смерть ей жаль было Насти, а пособить она ей ничем не придумала; она и сама была такая же горькая, и себе рады никакой дать не умела. Села только да голову Настину себе в колена положила, и плакали вдвоем. А в чулане холод, и слезы как падают, так смерзнут.

Костик тем временем переговорил с матерью и с барыней. Мать только спросила: «Каков парень-то, Костюша?» Костик расхвалил Гришку; сказал, что и непитуший и смиренный. «Ну и с Богом; что ж косою-то трепать в девках!» – отвечала Петровна. Ей и в ум не пришло, что Настя этого гугнявого и лопухого смиренного «зреть не может»; что он ей «все равно что рябый кобель», который по двору бегал. Как ее выдавали замуж, так и она выдавала дочь. Только бы «благословить под святой венец». А барыня и еще меньше толковала. Запросила она за девку шестьдесят пять рублей, а сошлись на сорока, и тем дело покончили, и рукобитье было, и запои, – и девки на девичник собрались. Свадьба должна была быть сейчас после Крещения. Недели с три всего оставалось Насте прожить своим житьем девичьим.

Всегда Настя была добрая и кроткая, а тут, в эти три недели, совсем точно ангел небесный стала. И жалкая она такая была, что смотреть на нее никак нельзя: словно тень ее ходит, а ее самой как нет, будто душечка ее отлетела. Лицо стало такое длинное да бледное, как воск, а черные волосы еще более увеличивали эту бледность. Только материнские агатовые глаза горели скрытым внутренним огнем и выражали ту страшную подавленность, которая не давала Насте силы встать за самое себя. По ночам она все не спала, все ей что-то чудилось. То, бывало, побежит к матери, то бросится в господскую детскую. Там две барышни маленькие спали: одна из них, Машенька (Царство ей Небесное, умерла уже она), была любимица Настина. Ей всего шестой годочек шел, да понятливая была девочка и чувствительная. Бывало, если отец на кого крикнет или вздумает кого розгами наказывать, по тогдашним порядкам, так она, как ястребок маленький, так перед отцом и толчется: «Плясти, папа! плясти для меня! я плакать буду, плясти, папочка!» А сама уж в пять ручьев плачет. Так, бывало, и отмолит от наказания. Все ее люди любили в дворе: «Это наша застоя!» – говорили, бывало. Всякий ее на руки хотел взять, поддержать, поцеловать ее маленькую лапку. Все ей за князя пророчили выйти, а она вышла за еловую домовинку. Настя больше всех, кажется, любила маленькую барышню, и Маша ее любила без памяти. С тех пор как Костик женился на Алене и занял Петровнин чулан, Настя стала спать на войлочке возле Машиной кровати. Ночью, бывало, и то у них дружба идет. Проснется Маша, сейчас шепотом Настю зовет или сама соскочит в рубашоночке с кровати да прямо и юркнет к Насте под одеяло, и целуются, целуются, словно любовники молодые или как голуби. Так и заснут, уста к устам прижавши. Настя Машу обнимает, а та ее обхватит своею ручонкою за шею, и спят так, как два ангела Божьи. Не раз их так заставляла барыня, и доставалось за это на орехи и Насте и барышне, но разнять их никак не могли. Днем тоже Маша вертелась все возле Насти. Зимой Настя тальки по уроку пряла. Две тальки в неделю, по сорока пасом, в каждом пасме по сорок ниток, и чтобы свернутая талька в барынино венчалное кольцо проходила. Это очень трудная работа, но Настя была первая мастерица прясть. Случился у Насти двугривенный, и купила она за него на ярмарке для Маши маленький гре-

бень с донцем. Такая была радость ребенку! С тех пор она все с этим снарядом в ногах у Насти на скамеечке мостилась и прядла хлопки. Шутя, шутя выучила ее Настя прядь, и сама, бывало, засмотрится, как та одною лапкою намычку из гребня щепет, а другою ведет нитку да веретенцем маленьким посукает. «Погоди, – говорила Маша, – погоди, Настя, выучусь хорошенько прядь, я тебе стану помогать». Настя схватит ее, целует, целует, та только лепечет: «М-м, задусис, задусис», а сама все терпит и губенками к Настиным губам, как пчелка маленькая, льнет. Отличное дитя было!

В эти дни недели, что оставалось от рукобיתья до свадьбы, Настя ко всем как ясочка все ласкалась; словно как прощалась со всеми молча, а больше всех припадала до матери да до маленькой Маши. Жаль было на нее смотреть, так она тяжко мучилась, приготавливаясь свой честный венец принять. А Костику и горя мало; ходит – усенки свои пощипывает, а вечерами все барыши на счетах выкладает да водку с Прокудиным пьет. Сестры он словно и не видит. Другие же и видели, и смекали, и всем жаль было Насти, да что же исчужи поделаешь? Петровна тоже задумывалась, да запой уж пропиты, что ж тут делать? Опять Костика вспомнила, гармидер поднимет, перебьет всех, – так и пустилась на Божью волю. «Девка, – думала, – глупа; а там обойдется, и будут жить по-Божьему».

Так прошло Рождество; разговелись; начались святки; девки стали переряжаться, подблюдные песни пошли. А Насте стало еще горче, еще страшнее. «Пой с нами, пой», – приступают к ней девушки; а она не только что своего голоса не взведет, да и чужих-то песен не слышала бы. Барыня их была природная деревенская и любила девичьи песни послушать и сама иной раз подтянет им. На святках, по вечерам, у нее девки собирались и певали.

В эти святки то же самое было. Собрались девки под Новый год и запели «Кузнеца», «Мерзляка», «Мужичков богатых», «Свинью из Питера». За каждой песней вынимали кольцо из блюда, накрытого салфеткой, и толковали, кому что какая песня предрекает. Потом Анютка-круглая завела:

Зовет кот кошку в печурку спать.

Девушки подхватили:

Слава, слава.

Допели песню, и вынулось серебряное кольцо Насти. Смысл песни изъяснить было нечего. Все захохотали, да подсмеиваться, да перешептываться промеж себя стали. Настя надела поданное ей колечко, а сама бледная как смерть; смотрит зорко и словно как ничего не видит и не слышит. Девки шепнули одна другой на ухо: «Жердочка, жердочка», откашлянулись, да полным хором сразу и хватили «Жердочку». Все это спросту делалось, а Настя как услышала первые два стиха знакомой песни, так у нее и сердце захолонуло. А девки все веселее заливаются:

Как по той по жердочке
Да никто не хаживал,
Никого не важивал;
Перешел Григорий-сударь,
Перевел Настасью свет
За правую за рученьку
На свою сторонушку.
На своей на сторонушке
И целует, и милует,

И целует, и милует,
Близко к сердцу прижимает,
Настасьишкой называет.

Настя встала с места, чтоб поблагодарить девушек, как следует, за величанье, да вместо того, чтобы выговорить: «Благодарю, сестрицы-подруженьки», сказала: «Пустите».

Девушки переглянулись, встали и выпустили ее из-за стола, а она прямо в дверь да на двор. «Что с ней? Куда она?» – заговорили. Послали девочку Гашу посмотреть, где Настя. Девочка соскочила с крыльца, глянула туда-сюда и вернулась: нет, дескать, нигде не видать! Подумали, что Настя пошла к матери, и разошлись. Собрались ужинать, а Насти нет. Кликали, кликали – не откликается. Оказия, да и только, куда девка делася? А на дворе светло было от месяца, сухой снег скрипел под ногами, и мороз был трескучий, крещенский. Поужинали девушки и спать положились, устроив дружка дружке мосточки из карт под головами. Насти все не было. Она все стояла за углом барского дома да плакала. Пробил ее мороз до костей в одном платице, вздохнула она, отерла рукой слезы и вошла потихоньку через девичью в детскую комнату. Обогрела у теплой печки руки, поправила ночник, что горел на лежанке, постлала свой войлочек, помолилась перед образом Богу, стала у Машиной кровати на колена и смотрит ей в лицо. А дитя лежит, как херувимчик милый, разметав ручки, и улыбается. «Спишь, милка?» – спросила Настя потихонечку, видя, что дитя смеется не то во сне, не то наяву – хитрит с Настей.

– М-м! – сказала девочка спросонья и отворила свои глазки.

– Спи, спи, душка! – проговорила Настя, поправляя на ребенке одеяльце.

– Это ты, Настя?

– Я, милая, я. Спи с Богом! Христос с тобой, Матерь Божия и Ангел Хранитель! – Настя перекрестила свою любимицу.

– Посиди, Настя, у меня.

– Хорошо, моя детка. Я так вот над тобой постою.

– Милая! – сказала девочка Насте, обняла ее ручонкой, прижала к себе и поцеловала.

– Какая ты холодная, Настя! Ты на дворе была?

– На дворе, голубка.

– Холодно там?

– Холодно.

– А я сон какой, Настя, видела!

– Какой, моя пташечка?

– Будто мы с тобой по хвостовскому лугу бегали.

– А-а! Ну, спи с Богом, спи!

– Нет, послушай, Настя! – продолжало дитя, повернувшись на своей постельке лицом к Насте. – Мне снилось, будто на этом лугу много-много золотых жучков – хорошенькие такие, с усиками и с глазками. И будто мы с тобой стали этих жучков ловить, а они всё прыгают. Знаешь, как кузнечики прыгают. Всё мы бегали с тобой и разбежались. Далеко друг от друга разбежались. Стала я тебя звать, а ты не слышишь: я испугалась и заплакала.

– Горсточка ты моя маленькая! Испугалась она, – сказала Настя и погладила Машу по кудрявой головке.

– Ну, слушай, Настя! Как я заплакала, смотрю, около меня стоит красивая такая... не барыня, а так, Настя, женщина простая, только хорошая такая. Добрая, вся в белом, длинном-длинном платице, а на голове веночек из белых цветочков – вот как тетин садовник Григорий тебе в Горохове делал, и в руке у нее белый цветок на длинной веточке. Взглянула я на нее и перестала плакать; а она меня поцеловала и повела. И сама не знаю, Настя, куда она меня вела. Всё мы как будто как летели выше, выше. Я про тебя вспомнила, а тебя уж нету. Ты внизу,

и мне только слышно было, что ты кричишь. Я глянула вниз, а тебя там волки рвут: черные такие, страшные. Я хотела к тебе броситься, да нельзя, ножки мои не трогаются. А тут ко мне навстречу много-много детей набежало: все хорошенькие такие да смешные, Настя: голенькие и с крылышками. Надавали мне яблочек, конфеток в золотых бумажках, и стали мы летать, – и я, Настя, летала, и у меня будто крылышки выросли. А тут ты меня назвала, я и проснулась. Хороший это сон, Настя?

– Хороший, моя крошка, хороший. Спи с Богом!

– О чем же ты, Настя, плачешь?

– Так, ни о чем, деточка; спи!

– Зубки у тебя болят?

– Да; спи, спи!

– Нет, скажи, о чем плачешь? Кто тебя обидел?

– Зубки болят.

– Нет, – нетерпеливо сказала девочка, – кто тебя обидел?

– Никто, мой дружок. Так, скучно мне.

– Скучно?

Настя кивнула головой, а глаза полнехоньки слез. Девочка стала ее гладить по лицу ручками и лепетала:

– Не плачь. Чего скучать? Весна будет, поедem с мамой к тете; будем на качелях качаться с тобой. Григорий-садовник опять нас будет качать, вишень нам даст, веночек тебе совет...

– Ах, крошка ты моя несмысленная! Совет мне веночек Григорий, да не тот, – отвечала Настя и ткнулась головой в подушку, чтоб не слышать было ее плача. Только плечи у нее вздрагивали от задушенного взрыва рыданий.

– Настя! Чего ты? – приставала девочка. – Настя, не плачь так. Мне страшно, Настя; не плачь! – Да и сама, бедняжка, с перепугу заплакала; трясет Настю за плечи и плачет голосом. А та ничего не слышит.

На ту пору барыня со свечкой и хлоп в детскую.

– Что это! что это такое? – закричала.

– Мамочка милая! Настю мою обидели; Настя плачет, – отвечала, сама обливаясь слезами, девочка.

– Что это? – отвечала барыня. – Настасья! Настасья! – А та не слышит. – Да что ты в самом деле дурачишься-то! – крикнула барыня и толкнула Настасью кулаком в спину.

Прокинулась Настя и обтерла слезы.

– Что ты дурачишься? – опять спросила барыня. Настя промолчала.

– Иди спать в девичью.

– Мамочка, не гони Настю: она бедная! – запросила девочка и опять заплакала и обхватила ручонками Настю.

– Иди в девичью, тебе говорю! – повторила барыня. – Не пугай детей, – и дернула Настю за рукав.

– Ай! ай! мама, не тронь ее! – вскрикнуло дитя. Вскипела барыня и схватила на руки дочь, а та так и закатилась; все к Насте рвется с рук.

– Розог, розог, вот сейчас тебе розог дам! – закричала мать на Машу. А та все плачет да кричит: «Пусти меня к моей Насте; пусти к Насте!»

Поставила барыня девочку на пол; подняла ей подольчик рубашечки, да и ну ее валять ладонью, – словно как и не свое дитя родное. Бедная Маша только вертится да кричит: «Ай-ай! ай, больно! ой, мама! не буду, не буду».

Настя, услышав этот крик, опомнилась, заслонила собой ребенка и проговорила: «Не бейте ее, она ваше дитя!»

Ударил барыня еще раз пяток, да все не попадало по Маше, потому что Настя себя подставляла под руку; дернула с сердцем дочь и повела за ручонку за собою в спальню.

Не злая была женщина Настина барыня; даже и жалостливая и простосердечная, а тукманку дать девке или своему родному дитяти ей было нипочем. Сызмальства у нас к этой скверности приучаются и в мужичьем быту и в дворянском. Один у другого словно перенимает. Мужик говорит: «За битого двух небитых дают», «не бить – добра не видать», – и колотит кулачьями; а в дворянских хоробах говорят: «Учи, пока впоперек лавки укладывается, а как вдоль станет ложиться – не выучишь», и порют розгами. Ну, и там бьют и там бьют. Зато и там и там одинаково дети вдоль лавок под святыми протягиваются. Солидарность есть не малая.

Эх, Русь моя, Русь родимая! Долго ж тебе еще валандаться с твоей грязью да с нечистью? Не пора ли очнуться, оправиться? Не пора ли разжать кулак, да за ум взяться? Схаменися, моя родимая, многохвальная! Полно дурачиться, полно друг дружке отирать слезы кулаком да палкой. Полно друг дружку забивать да заколачивать! Нехай плачет, кому плачется. Поплачь ты и сама над своими кулаками: поплачь, родная, тебе есть над чем поплакать! Авось отлегло от твоей груди, суровой, недружливой, авось полегчеет твоему сердцу, как прошибет тебя святая слеза покаянная!

IV

Перевенчали Настю с Гришкой Прокудиным. Говорил народ, что не свадьба это была, а похороны. Всего было довольно: питья, и еды, и гостей званых; не было только веселья да радости. Пьяные шумели, кричали, куражились, – и больше всех куражился Костик. Он два раза заводил драку, и Прокудин два раза разводил его. Но трезвого задуманного веселья и в помине не было. Бабы заведут песню, да так ее кое-как и скомкают; то та отстанет от хора, то другая – и бросят. Глядят на молодых да перешептываются. Молодые сидели за особым столом; Гришка был расчесанный, примасленный, в новой свите, с красным бумажным платком под шеей. С лица у него тек пот, а с головы масло, которым его умастила усердная сваха. Гришка был в этот вечер хуже, чем когда-нибудь. Плоские волосы, лоснящиеся от втертого в них масла, плотно прилегли к его выпуклому лбу и обнаруживали еще яснее его безобразную голову. Он вообще походил теперь на калмыцкого божка-болванчика и бессмысленным взором обводил шумную компанию. На молодую жену он не смотрел. Его женили, а ему все равно было, на ком его женили. А Настя? Настя сидела обок мужа ни живая, ни мертвая. Даже когда кто-нибудь из пьяных гостей, поднимая стакан, говорил: «горько! подсластите, молодой князь со княгиней», Настя, как не своя, вставала и давала целовать себя Григорью и опять садилась. Ни кровинки не видно было в ее лице, и не бледное оно было, а как-то почернело. С самого утра этого дня она будто перестала мучиться и точно как умерла. Одевали ее к венцу, песни пели, косу девичью расчесывая под честной венец; благословляли образами сначала мать с Костиком, потом барин с барыней; она никому ни словечка не промолвила, даже плачущую Машу молча поцеловала и поставила ее на пол. Посадили ее в господскую кибитку, обвешанную красными платками, и к церкви привезли. В церкви долго ждали попа; все свахи, дружки и поддружья замерзли, поминаются, и Гришка поминает ноги и носом подергивает; а Настя как стала, так и стоит потупя глаза и не шелохнется. Пришел наконец поп, и началось венчание.

– Имаши ли, Григорие, благое произволение пояти себе сию Анастасию в жену? – спросил поп Григория.

Григорий ничего не ответил. Поп обратился с вопросом к Насте, и она ничего не ответила. Они оба не поняли вопроса и не догадались даже, что вопрос этот к ним обращается. Поп наконец перевенчал Настю с Григорьем Прокудиным. Когда водили Настю вокруг налоя и пели: «Исаия, ликуй! Дева име во чреве и роди Сына Еммануила», она дико взглянула вокруг, оставила глаза на брате и два раза споткнулась, зацепившись за подножье. В толпе пошел шепот:

«Ох! нехорошо это, бабочки! не к добру это она, болезная, спотыкнулась-то!» Так и вина Настя хлебнула с Григорьем из одной чашки «в знак единения», тихо и покойно. Но когда поп велел им поцеловаться, она как будто шарахнулась в сторону, однако дала себя обнять и поцеловать молча. В притворе церковном свахи завернули ей косу под белую женскую повязку с красной бумажной бахромой; надели паневу с мишурным позументом и синей прошвой спереди; одели опять в белый тулуп и повезли в дом свекра. Тут Настя кланялась и свекру-батюшке, и свекрови-матушке, и мужу, и брату своему, глотала вино, когда к ней приставали: «Пригубь, княгиня молодая», безропотно давала свои уста Гришке, когда говорили: «горько», «кисло», «мышинные ушки плавают», и затем сидела безмолвным истуканом, каким ее видели в начале настоящей главы.

Попойка все продолжалась; гости шатались, спорили и кричали. Свахи и дружки тоже подгуляли, и о молодых на время как будто позабыли. Прокудин угощал гостей с усердием и все оглядывая. Заметив на верхнем полу раскрасневшую молодую бабочку, бывшую Настиной свахой, он выразительно кивнул ей головой и опять продолжал потчевание. Сваха поправила повязку, выбежала за дверь и через четверть часа возвратилась с другою свахой и дружкой. Молодых повели спать в пуньку с шутками да прибаутками. Более всех тут отличалась Настина сваха, у которой муж другой год пропадает на Украине и которая в это время успела приобрести себе кличку Варьки-бесстыжей. Впрочем, ее никто не обегал, потому что она была и работница хорошая, и из хорошего дома. О ее родных говорили, что они «первые хозяины», и Варьке по ним везде был почет, хоть и знали, что она баба гулящая. Ну да «у нас (как говорят гостомльские мужики) из этого просто», – ворон ворону глаза не выклюет. У нас лягушек очень много в прудах, так как эти лягушки раскричатся вечером, то говорят, что это они баб передразнивают: одна кричит: «Где спала! где спала!» – а другая отвечает: «Сама какова! сама какова!» Впрочем, это так говорят, а уж на самом деле баба бабу не выдает: все шито да крыто. Только стариков так иной раз выводят на чистую воду. Зато уж старики и молчат, не упрекают баб ничем, а то проходу не будет от них; где завидят и кричат: «Снохач! снохач!» У нас погудка живет, что когда-то давненько в нашу церковь колокол везли; перед самою церковью под горой колокол и стал, колесни завязли в грязи – никак его не вытащить. Припрягли еще лошадей, куда только можно было цеплять; бьют, мордуют, а дело не идет, потому что лошади не съезженные: одна дернет, а другая стоит. Никак не добьешься, чтобы все сразу приняли. Бились, бились и порешили, что лучше взвести колокол на гору народом. Собрался весь народ, подцепили за передок колесней веревки, крикнули:

Первой, другой
Разом!
Еще другой
Котом!
Ухха-ху-о!

Колокол пошел, но на половине горки народ стал отдохнуть. Тут, разумеется, сейчас смехи да пересмешки: кто как вез; да кто надюжался, кто лукавил. Шутили так, отдыхая.

– Ну, будет! – крикнул дьячок. Молодой был парень и шутник большой. – Будет, – говорит, – стоять-то да зубы скалить, принимайся опять.

Народушка опять взялся, опять пропел «первой-другой» и потянул.

– Что-то тяжело стало! – крикнул дьячок.

– И то, малый, словно потяжелело! – отозвался кто-то из ребят.

– Верно, *снохач* какой-нибудь есть промеж нас, – крикнул дьячок.

– Снохачи долой! – гаркнули молодые ребята и бабы.

Все мужики, этак лет за сорок, так сразу и отскочили, а остальные не удержали колокола, и он загудел опять книзу.

Смеху было столько, на всю деревню, что и теперь эта погудка живет, словно вчера дело было. А там уж правда ли это или нет – за это не отвечаю. Только в Гостомле всякое малое дитя эту погудку расскажет, и обапольные бабы нашим мужикам все смеются: «Гостомцы, – говорят они, – как вы колокол-то тянули?» Часто этак смеются.

Бабы у нас бедовые, «разухабистые», что говорится; а Варька-бесстыжая на все дела была первая. Ее все брали в свахи, и она считалась лучшею свахою, потому что была развеселая, голосистая, красивая и порядки все свадебные знала. Ребят у нас женят всё молодых, почти мальчишек, на иного и смотреть еще не на что, а уж его окрутят с девкой. Ничего иной не смыслит, робеет перед женою, родным в это дело мешаться неловко, так и дорожат свахой смелой да бойкой. А уж Варька была такая сваха, что хоть какого робкого мальчишку жени, так она ему надает смелости и «довеет до делов». Она была свахою и у Насти. Другая сваха, со стороны жениха, была только для прилики. Это была веселая востролиценькая бабенка; она только пела да вертелась, а дела-то от нее никакого не было. Всем делом орудовала Варька, и на нее одну все обращали внимание.

Раздела Варька Настю в холодной пуньке, положила ее в холодную постель и одела веретем, а сверху двумя тулупами. Тряслась Настя так, что зубы у нее стучали. Не то это от холода, не то Бог ее знает от чего. А таки и холод был страшный.

– Заябла, молодка! – говорила Варька Насте; потом погасила фонарь и вышла.

Через минуту дверь пуньки опять скрипнула: «Иди! иди, дурашный!» – шепнула Варька и насильно втолкнула в пуньку молодого князя Григорья Прокудина.

А в избе все шла попойка, и никто в целом доме в эти минуты не подумал о Насте; даже свахи только покрикивали в сарайчике, где лежал отбитый колос: «Не трожь, не дури, у тебя жена есть!» – «Ай, ну погоди! Дай вот жене скажу», – раздавалось в сарайчике. В избе на рюминском хуторе тоже видно было, что народ гуляет; даже Алены не было дома, и только одна Петровна стояла на коленях перед иконой и, тепля грошовую свечечку из желтого воска, клала земные поклоны, плакала и, задыхаясь, читала: «Буди благословен день и час, в онь же Господь наш Иисус Христос страдание претерпел».

Не знаю, отчего у нас старые люди очень многие знают эту молитву и особенно любят ею молиться, претерпевая страдания, из которых соткана их многопечальная жизнь. Этой молитвой Петровна молилась за Настю почти целую ночь, пока у Прокудина кончился свадебный пир и Алена втащила в избу своего пьяного мужа, ругавшего на чем свет стоит Настю.

V

С тех пор как Варвара стала ходить в свахах, она никогда не запомнила такой свадьбы, какова ей далась Настина свадьба. И на колосе она наигралась, и назяблась уж порядком, и из избы ей уж два раза доносили, что жареный петух готов и пора молодых поднимать, «а поднимать их не с чем». Зло Варвару берет страшное. Она с сердец то выругает Григорья «сопатым», то в дверь пуньки рукой, будто невзначай, стукнет, – а все нет того, чего ей ждется. Походила она и стукнула еще раз – дверь отворялась, и перед изумленною свахою предстала Настя совсем одетая: в паневе, в фартуке и в повязке.

– Что ж это вы? – воскликнула Варвара.

– Пойдем, куда тебе нужно, – тихо ответила Настя, взяв сваху за руку. Это было первое слово, которое выговорила Настя в день своей свадьбы.

Делать было нечего; Варвара собрала дружков, оправила голову замерзшему Гришке, и с церемониею повели молодых за брачный стол есть когута жареного и пшеничную кашу с коровьим маслом.

Невесело шли поздравления. Гости поздравляли, заикаясь и не договаривая приличных случаю двусмысленных острот и обычных прибауток. Прокудин шептал что-то Костику на ухо, а тот, едва понимая пятое слово, вскрикивал: «Не может быть! Эшь она! гади я ее!» Алена толкнула мужа и твердила ему: «Полно срамничать-то, озорник! Полно сестру-то хайть, – ты глянь на нее, какая она: краше в гроб кладут». Настя сидела за масленой кашей и жареным когутом и ни к чему не прикасалась. Она нисколько не изменилась и смотрела тем же равнодушно убитым взглядом, каким глядела час тому назад, когда ее еще сваха Варвара не выводила из-за стола в пуньку. Григорий как-то совсем осовел: он и перезяб, и спать ему хотелось, и он зевал и жался. Сваха Варвара хлопотала около молодых, потчевала их, а сама трещала и, как сорока, оборачивалась на все стороны. Григорий выпил стаканов шесть браги, а Настя и полстакана не могла выпить, потому что брага была хмельная, разымчивая. У нас в такую брагу пенного вина подбавляют, и человек от нее скоро дуреет; а свашенька Варвара поусердствовала для молодых и, отняв для них браги в особый кубан, еще влила туда добрую долю пенника. Никак не могла пить Настя этой браги, с души ее она мутила. Без привычки таки этой браги, сыченной с пенником или с простой полугарной водкой, никак нельзя пить: и не вкусна она, а запах в ней делается отвратительный, и голова вдруг разболеается. А мужики охотно портят вкусную хлебную брагу винной подмесью, потому что с подмесью она крепче, «сногшибательнее».

Григорий выпил шестой стакан браги, словно развеселился и стал все засовывать руку за спину жене, стараясь ее как бы обнять; но смелости у него на это не доставало, и рука в половине своего эротического движения падала на лавку сзади Насти. Выпил Григорий еще два стакана, смелее целуясь с женою за каждым «горько»; сваха объявила, что «молодой княгине пора упокой принять», и опять с известными церемониями уложила Настю в ее холодной супружеской спальне. Потом взяла Григорья в чулан в сенях; долго ему говорила и то и се, «ты, – говорит, – дурак сопатый! Чего ты на нее смотришь? Ведь это не про господ, а про свой расход. Другой бы на твоём месте досе... Да где тебе, дуриле лопухому!»

– Чего ты ругаешься-то? – гнусил Григорий. – Ты до время не ругайся. Я тебе говорю, не ругайся. Мы свое дело понимаем.

– То-то! – значительно сказала сваха и, заставив молодого выпить стакан водки, повела его к Насте. В пуньке она опять налила водки и поднесла Насте, но Настя отпросилась от угощенья, а Григорий, совсем уже опьяневший, еще выпил. Сваха тоже выпила и, взяв штоф под мышку, вышла с фонарем вон и затворила за собою пуньку.

– Настасья! а Настасья! – гнусил Григорий, хватая рукою по кровати.

– Что? – тихо, но нетерпеливо спросила Настасья.

– Ты тут?

Настя молчала.

– Тут ты, Настасья? – опять спросил молодой.

– Да тут, тут! Где ж бы я поделась?

– То-то, – проговорил молодой.

А Насте крепко-крепко хотелось не быть теперь тут. Да, говорят у нас, во-первых: «Не так живи, как хочется, а так, как Бог велит», а во-вторых, говорят: «Жена человеку всякому Богом назначена, еже Бог сопряже, человек да не разлучает».

Всю эту ночь у Прокудиных пили да гуляли, и поснули, где кто ткнулся, где кому попало.

Утром раньше всех к Прокудиным пришла сваха Варвара.

– Что, как молодые? – спросила.

– Ничего, спят.

– Ну, нехай их поспят еще.

Опохмелились, закусили и лясы поточили. Пришли дружки, кое-кто из родных, опять выпили, опять побалакали, да и про молодых опять вспомнили. «Пора подымать!» – сказала Варвара.

Все согласились, что пора поднимать. Бабы домашние стали собирать новый завтрак для молодых, а Варвара с дружками и другой свахой пошли к пуньке. День был ясный, солнечный, и на дворе стояла оттепель.

Пришла Варвара с дружками к пуньке, отперла замок, но, как опытная сваха, не отворила сразу дверь, а постучала в нее рукой и окликнула молодых. Ответа не было. Варвара постучала в другой раз, – ответа опять нет. «Стучи крепче!» – сказал Варваре дружок. Та застучала из всей силы, но снова никто ничего не ответил. «Что за лихо!» – промолвила Варвара.

– Отворяй двери! – сказал дружок.

Варвара отворила двери, и все вошли в пуньку.

Григорий лежал навкося кровати и спал мертвым сном; он был полураздет, но не чувствовал холода и тяжело сопел носом. Насти не было. Свахи и дружки обомлели и в недоумении смотрели друг на друга. В самом деле, пунька была заперта целую ночь; Григорий тут, а молодой нет. Диво, да и только!

– Что ж это, братцы? – проговорил наконец один дружок.

– Это диковина, – отвечал другой.

– Это неспроста, – сказали свахи.

– Это его дело, – опять заметил первый дружок. В углу, за сложенными бердами и всякою рухлядью, что-то зашумело.

– Ах! Ах! – закричали бабы, метнувшись в двери, а за ними выскочили и мужики.

– Чего вы? чего вы? – проговорил тихий Настин голос.

– Это молодайка! – воскликнули бабы.

– А, молодайка!

– Пойдем.

Опять отворили двери, и все ввалились в тесную пуньку. Григорий по-прежнему спал почти что впоперек кровати, а Настя сидела на полу в темном уголке, закутанная в белом веретъе. Ее не заметили в этом уголке, когда она, не давая голоса, лежала, прислонясь к рухляди, вся закутанная веретьем.

– Что ты тут делаешь? – спросила ее Варвара.

– Видишь что... ничего! Скажи ребятам, чтоб вышли.

Дружки вышли за двери; а Настя встала и протянула руку к паневе. Варвара оглянула ее с плеч до ног и спросила:

– Что ж это ты дуришь, молодайка?

Настя ничего не ответила.

– Что ж это и правда? родителей только страмишь? – проговорила другая сваха.

А Настя все молчит да одевается.

– Куда ты? – спросила Варвара, видя, что Настя, одевшись, идет к двери.

– Умыться пойду.

– Стой-ка, красавица, так не делается! Подожди мужа. Ты! эй, ты! – звала Варвара Григория, толкая его под бок; а он только мычал с похмелья.

– Вставай, сокол ясный! Вставай, ворона голенастая! полно носом-то водить! – продолжала Варвара.

Гришка встал, чесал голову, чесал спину и никак не мог очнуться. Насилу его умыли, прибрали и повели с женою в избу, где был готов завтрак и новая попойка. Но тут же были готовы и пересуды. Одни ругали Настю, другие винули молодого, третьи говорили, что свадьба испорчена, что на молодых напущено и что нужно съездить либо в Пузеево к знахарю, либо

в Ломовец к бабке. Однако так ли, не так, а опять веселья не было, хотя подпили все опять на порядках.

Хороводились таким манером через пень в колоду до самого обеда. После обеда запрягли трое саней парами и стали собираться ехать к Настиным господам на поклон. Выложила Настя свои заветные ручники, на которых красной и синей бумагой были вышиты петухи, решетки, деревья и павлины, и задумалась над этими ручниками. Ей вспомнились другие дни, другие годы, когда она, двенадцатилетней девочкой, урывала свободный часок от барской работы и проворно метала иглою пестрые узоры ручниковых концов и краснела как маков цвет, когда девушки говорили: «Какие у Насти хорошие ручники будут к свадьбе».

Уселись поезжане. Настю с мужем посадили на задние сани; с ними села сваха Варвара, а за ними ехали верхами двое дружек. Из господского дома поезд прежде всех завидели девушки, забегали и засуетились, повторяя: «Молодые, молодые, на поклон едут!» Господа спали после обеда, но, услышав суету, встали. Барин надел ватный кашемировый халат и подпоясался, а барыня сняла со шкафа бутылку с зоревой настойкой и нацедила два графинчика водки. Поезд остановился у крыльца и не сходил с саней. Только один дружок слез с лошади и, отдав повод своему товарищу, вошел в хоромы.

– Здравствуй, Тихон! – сказал барин, увидя вошедшего знакомого парня.

– Здравствуй, Митрий Семеныч!

– Что, брат, скажешь?

– К твоей милости.

– Ты дружком, что ли? – спросил барин, глядя на перевязанный красным платком рукав Тихоновой свиты.

– Точно так, Митрий Семеныч! Молодые к тебе поклониться приехали: прикажешь принять?

– Как же, как же, Тихон! Веди молодых; спасибо, что вспомнили.

– Ну, вот благодарение тебе, – отвечал Тихон и вышел снова в сени.

На санях в ту же минуту началось движение. Бабы, мужики вставали, отряхивались и гурьбою полезли в прихожую. Тем временем барыня подала мужу в руки целковый, себе взяла в карман полтинник, а детям раздала кому четвертак, кому двугривенный, а Маше, как самой младшей, дала пятиалтынный. Дети показывали друг другу свои монеты и толковали, как они их положат на тарелку, когда придет время «отдаривать» Настю.

Отворилась дверь в маленький залец, и выступила из передней Настя и рядом с ней опять страшно размазанный Григорий. Поезжане стали за ними. В руках у Насти была белая каменная тарелка, которую ей подали в передней прежние подруги, и на этой тарелке лежали ее дары. Григорий держал под одною рукою большого глинистого гусака, а под другою такого же пера гусыню.

Молодые вошли, поклонились и стали у порога, не зная, что им делать.

– Здравствуйте, друзья мои, Григорий Исаевич и Настасья Борисовна!

– Здравствуйте, Митрий Семеныч! – отвечали разом все поезжане.

– И с хозяйшкой твоей и с детками, – подсказал кто-то из-за двери.

Молодые оба молчали.

– Спасибо, спасибо вам, что вспомнили меня.

– Да как же, Митрий Семеныч! – ответил кто-то из поезжан.

– Неш мы какие, прости Господи...

– Мы твоей милости повсегды...

– Мы порядки соблюдаем, как по-Божому, значит.

– Что ж ты невеселая такая, Настя? – спросила барыня.

– Не огляделась еще, сударыня! – ответила сваха Варвара.

– То-то, ты не скучай.

– А ты поклонись сударыне-то, – опять подсказала Варвара, толкая Настю под локоть. Настя стояла и не поклонилась сударыне.

– Ну так что же: поздравить надо молодых-то, что ли? – спросил барин.

– Да, надеть поздравить, Митрий Семеныч, да дары принять, – отвечал дружок.

Григорий поставил на пол гусей, которые крикнули с радости и тотчас же оставили на полу знаки своего прибытия, а Настя подошла с своей тарелкой к барину.

Барин взял рюмку травника, поднял ее и проговорил:

– Ну, дай же вам Бог жить в счастье, радости, совете, любви да согласии! – выпил полрюмки, а остальным плеснул в потолок.

– Спасибо тебе, Митрий Семеныч, на добром слове! – сказал Прокудин, а за ним и другие повторили то же самое. Настя подала барину ручник, а барин положил на тарелку целковый.

Так Настя одарила всю господскую семью и последний подала хорошенький ручник Маше.

Маша забыла положить свой пятиалтынный на тарелку и, держа его в ручонках, бросилась на шею к Насте.

– Ишь как любит-то! – заметила Варвара, поцеловав свесившуюся через Настино плечо руку девочки.

Между тем стали потчевать водкою поезжан, и начались приговорки: «горько» да «ушки плавают». Насте надо было целоваться с мужем, и Машу сняли с ее рук и поставили на пол.

Дошло потчевание до Варвары. Она взяла рюмку, пригубила и сказала: «Горько что-то!» Молодые поцеловались. Варвара опять пригубила и опять сказала: «Еще горько!» Опять молодые поцеловались, и на Настином лице выразилось и страдание и нетерпеливая досада.

А Варвара после второго целованья сказала: «Ну дай же Бог тебе, Григорьюшка, жить да богатеть, а тебе, Настасьюшка, спереди горбатеть!» – и выпила. Все общество рассмеялось.

Дружки дольше всех суслили свои рюмки и все заставляли молодых целоваться. Потом угощали других поезжан.

А барыня тем временем подошла к молодым, да и спрашивает:

– Что ж, Григорий, любишь ты жену?

– Как же, сударыня, жену надеть любить.

– Все небось целуетесь?

Григорий засмеялся и провел рукавом под носом.

– Ну, ишь барыне хочется, чтоб вы поцеловались, – встряла Варвара.

На Настином лице опять выразилась досада, а Григорий облапил ее за шею и начал трехприемный поцелуй.

Но за первым же поцелуем его кто-то ударил палкою по голове. Все оглянулись. На полу, возле Григория, стояла маленькая Маша, поднявши высоко над своей головенкой отцовскую палку, и готовилась ударить ею второй раз молодого. Личико ребенка выражало сильное негодование.

У Маши вырвали палку и заставили просить у Григория прощения. Ребенок стоял перед Григорьем и ни за что не хотел сказать: прости меня. Мать ударила Машу рукою, сказала, что высечет ее розгою, поставила в угол и загородила ее тяжелым креслом.

Девочка, впрочем, и не вырывалась из угла; она стояла смиренно, надув губенки, и колупала ногтем своего пальчика штукатурку белой стены. Так она стояла долго, пока поезд вышел не только из господского дома, но даже и из людской избы, где все угощались у Костика и Петровны. Тут ничего не произошло выходящего из ряда вон, и сумерками поезд отправился к Прокудину; а Машу мать оставила в наказание без чая и послала спать часом раньше обыкновенного и в постельке высекла. У нас от самого Бобова до Липихина матери одна перед другой хвалились, кто своих детей хладнокровнее сечет, и сечь на сон грядущий считалось высоким педагогическим приемом. Ребенок должен был прочесть свои вечерние молитвы, потом его

раздевали, клали в кроватку и там секли. Потом один жидомор-помещик, Андреем Михайловичем его звали, выдумал еще такую моду, чтобы сечь детей в кулке. Это так делал он с своими детьми: поднимет ребенку рубашечку на голову, завяжет над головою подольчик и пустит ребенка, а сам сечет, не державши, вдогонку. Это многим нравилось, и многие до сих пор так секут своих детей. Прощение только допускалось в незначительных случаях, и то ребенок, приговоренный отцом или матерью к телесному наказанию розгами без счета, должен был валяться в ногах, просить пощады, а потом нюхать розгу и при всех ее целовать. Дети маленького возраста обыкновенно не соглашались целовать розги, а только с летами и с образованием входят в сознание необходимости лобызать прутья, припасенные на их тело. Маша была еще мала; чувство у нее преобладало над расчетом, и ее высекли, и она долго за полночь все жалостно всхлипывала во сне и, судорожно вздрагивая, жалась к стенке своей кровати.

Беда у нас родиться смиренным да сиротливым – замнут, затрут тебя, и жизни не увидишь. Беда и тому, кому Бог дает прямую душу да горячее сердце нетерпеливое: станут такого колотить сызмальства и доколотят до гробовой доски. Прослынешь у них грубияном да сварою, и пойдет тебе такая жизнь, что не раз, не два и не десять раз взмолишься молитвою Иова Многострадательного: приberi, мол, только, Господи, с этого света белого! Семья семьею, а мир крещеный миром, не дойдут, так доедут; не изоймут мытьем, так возьмут кáтаньем.

VI

Головы свои потеряли Прокудины с Настею. Пять дней уже прошло с ее свадьбы, а все ни до какого ладу с нею не дойдут. Никому не грубит, ни от чего не отпирается, даже сама за работу рвется, а от мужа бегаёт, как черт от ладана. Как ночь приходит, так у нее то лихорадка, то живот заболит, и лежит на печке, даже дух притаит. Иной раз сдавалось, что это – она притворяется, а то как и точно ее словно лихорадка колотила. Старшая невестка, Домна, хотела было как-то пошутить с ней, свести ее за руку с печки ужинать, да и оставила, потому что Настя дрожмя дрожала и ласково шепотом просила ее: «Оставь меня, невестушка! оставь, милая! я за тебя буду Богу молить, – оставь!» Домна была баба веселая, но добрая и жалостливая, – она не трогала больше Насти и даже стала за нее заступаться перед семейными. Она первая в семье стала говорить, что Настя испорчена. Бог ее знает, в самом ли деле она верила, что Настя испорчена, или нарочно так говорила, чтоб вольготнее было Насте, потому что у нас с испорченной бабы, не то что с здоровой, – многого не спрашивают. Дьявола, который сидит в испорченной, боятся. Оттого-то, как отольется иной бабочке житецо желтенькое, так терпит-терпит, сердечная, да изловчится как-нибудь и закричит на голоса, – ну и посвободнее будто станет.

В Насте этакой порчи никакой никто не замечал из семейных, кроме невестки Домны. И потому Исай Матвеич Прокудин, сказавши раз невестке: «Эй, Домка, не брещи!», запрет лошадь и поехал к Костику, а на другой вечер, перед самым ужином, приехал к Прокудиным Костик.

– Вот! – крикнул Исай Матвеич, увидя входящего в дверь Костика. – Только ложками застучали, а он и тут. Садись, сваток, гость будешь.

Исай Матвеич помолился перед образами и сел в красном угле, а за ним села вся семья, и Костик сел.

– А где же Настя? – спросил Костик, осмотревши будто невзначай весь стол. – Аль она у вас особо ужинает?

– Нет, брат, она у нас совсем не ужинает, – отвечал Прокудин, нарезывая большие ломти хлеба с ковриги, которую он держал между грудью и левою ладонью.

– Как не ужинает?

– Да так, не ужинает, да и вся недолга; то живот, то голова ее все перед вечером схватывают, а то лихорадка в это же время затрепит.

– Что такое! – нараспев и с удивлением протянул Костик.

– Да уж мы и сами немало дивуемся. Жалится все на хворость, а хворого человека нельзя ж неволить. Ешьте! Чего зеваете! – крикнул Прокудин на семейных и начал хлебать из чашки щи с жирною свинойю.

– Что ж это за диковина? – опять спросил Костик, еще не обмакнувший своей ложки. – Да где же она у вас?

– Кто? Настя-то?

– Да.

– А не знаю; гляди, небось на печке будет.

Костик молча встал с лавки и пошел к печке, где ни жива ни мертва лежала несчастливая Настя, чуя беду неминуемую.

– Что ты лежишь, сестра? – спросил вслух Костик, ставши ногою на приставленную к печке скамью и нагнувшись над самым ухом Насти.

– Не по себе, братец! – отвечала Настя и поднялась, опершись на один локоть.

– Что так не по себе?

– Голова болит.

– Живот да голова – бабья отговорка. Поешь, так полегчает. Вставай-ка!

– Нет, брат, силушки моей нет. Не хочу я есть.

– Ну, не хочешь, поди так посиди.

– Нет, я тут побуду.

– Полно! Вставай, говорю.

Костик скрипнул зубами и соскочил с скамейки. Настя охнула и тоже спустилась с печи. Руку ей смерть как больно сдавил Костик повыше кисти.

– Подвиньтесь! – сказал Прокудин семейным. – Дайте невестке-то место.

Семья подвинулась, и Настя с Костиком сели.

– Ешь! – сказал Костик, подвинув к сестре ломоть хлеба, на котором лежала писаная ложка. Настя взяла было ложку, но сейчас же ее опять положила, потому что больно ей было держать ложку в той руке, которую за минуту перед тем, как в тисках, сжал Костик в своей костливой руке с серебряными кольцами.

– Кушай, невестушка! – сказал Прокудин, а Костик опять скрипнул зубами, и Настя через великую силу стала ужинать.

Больше за весь ужин ничего о ней не говорили. Костик с Исаем Матвеичем вели разговор о своих делах да о ярмарках, а бабы пересыпали из пустого в порожнее да порой покрикивали на ребят, которые либо засыпали, сидя за столом, либо баловались, болтая друг дружку под столом босыми ножонками.

Отошел незатейливый ужин. Исай Матвеевич с Костиком выпили по третьему пропускному стаканчику, – закусили остатком огурца и сели в стороне, чтобы не мешать бабам убирать со стола. Костик закурил свою коротенькую трубочку и молча попыхивал и поплеывал в сторону. Исай Матвеевич кричал на ребят, из которых одни червячками лезли друг за другом на высокие полаты, – а другие стоя плакали в ожидании матерей, с которыми они спали по лавкам. Настя стояла у столба под притолкой, сложа на груди руки, и молчала. Мужики вышли на двор управить на ночь скотину. Впрочем, мужиков дома, кроме самого Исаея Матвеевича, оставалось только двое: Григорий да его двоюродный брат Вукол. Домниного мужа и двух других старших сыновей Прокудина не было дома, – они были на Украине.

Костик выкурил свою трубочку, выковырял пепел, набил другую и снова раскурил ее, а потом он встал с лавки и, подойдя к двери, сказал:

– Поди-кась ко мне, сестра, на пару слов.

Настя спокойно вышла за братом. Домна глянула на захлопнувшуюся за невесткою дверь и продолжала собирать со стола объедки хлеба и перепачканную деревянную посуду.

– Ты что это так с мужем-то живешь? – спросил Костик за дверью Настю, стоя с нею в темных сенях.

– Как я живу, братец, с мужем? – проговорила окончательно сробевшая перед братом Настя.

– Как! Разве ты не знаешь, как ты живешь?

– Да как же я живу?

– Что ты огрызаешься-то! Нешто живут так по-собачьи! – крикнул Костик.

– Я не живу по-собачьи, – тихо отвечала Настя.

– Стерва! – крикнул Костик, и послышалась оглушительная пощечина, вслед за которой что-то ударилось в стену и упало.

Домна отскочила от стола и бросилась к двери.

– Куда! – крикнул Исай Матвеевич на Домну. – Не встревай не в свое дело; пошла назад!

Домна повернулась к столу, смахнула в чашку хлебные крошки и, суя эту чашку в ставец, кого-то чертакнула.

– Кого к чертям-то там посылаешь? – спросил Прокудин старшую невестку.

Домна ничего не отвечала, но так двинула горшки, что два из них слетели с полки на пол и разбились вдребезги.

– Бей дробней! – крикнул с досадою Прокудин.

– И так дробно! – отвечала Домна, подбирая мелкие черепочки разбитых горшков.

– Да что ты, сибирная этакая...

– Что! горшок разбила. Эка невидаль какая!

– Голову бы тебе так разбить...

Но в это время в сенях послышался раздирающий крик. Домна, не дослушав благожеланий свекра, бросилась к двери и на самом пороге столкнулась с Костиком.

– Совладал, родной! – сказала она ему с насмешкой и укором.

– Куда? – крикнул опять Прокудин. – Домна, вернись!

Но Домна не обратила никакого внимания на слова Прокудина и, выскочив в сени, звала:

– Настя! Настя! где ты? Настасья? Это я, откликнись, глупая.

Никто не откликается. Домна шарила руками по всем углам, звала Настю, искала ее в чулане, но Насти нигде не было.

Домна вернулась в избу, ни на кого не взглянула и молча засветила у каганца лучинную засветку.

– Куда с лучиной? – крикнул Прокудин.

– Настасью искать.

– Чего ее искать?

– Того, что нет ее.

– До ветру пошла.

– А може, и за ветром.

– Брось лучину! воротится небось.

Домна лучины не бросила и вышла с нею в сени; влезла с нею на потолок, зашла в чулан, заглянула в пуньку, а потом, вернувшись, острекнула лучину о загнетку и сказала:

– Ну теперь уж сами поищите...

– Кого поискать?

Домна ничего не отвечала и, подзвав к себе плачущего пятилетнего сына, утерла ему нос подолом его рубашонки и стала укладывать его спать.

– Где Настасья-то? – спросил Прокудин.

Домна молчала.

- Слышишь, что ли? Что я тебя спрашиваю! Где Настасья?
- А мне почему знать, где она? может, в колодце, може, в ином месте. Кто ее знает.
- Да что ты нынче брешешь!
- Что мне брехать. Брешет брех о четырех ног, а я крещеный человек.
- Не видал жены? – спросил Прокудин вошедшего Григорья.
- Нет, не видал.
- Что за лихо! Подите-ка ее поищите.

Ребята пошли искать Настю, и Костик злой-презлой пошел с ними, поклявшись дать Настасье здоровую катку за сделанную для нее тревогу. Но Насти не нашли ни ночью, ни завтра утром и ни завтра вечером.

Ночью на другой день в окно маслобойни Прокудина, откуда мелькал красноватый свет, постучался кто-то робкою рукою.

Костик и Прокудин, сидевшие вдвоем за столом в раздумье, как быть с пропажею бабы, тревожно переглянулись и побледнели. Стук опять повторился, и кто-то крикнул: «Отопри-тесь, что ли?»

Костику и Прокудину голос показался незнакомым, однако они встали оба вместе, вышли в сени и, посмотрев в дырку, прорезанную сбоку дверной притолки, впустили позднего посетителя.

Гость был один, и лицо его нельзя было рассмотреть в сенях. Пушистый снег как из рукава сыпался с самого вечера, и запоздалый гость был весь обсыпан этим снегом. Его баранья шапка, волосы, борода, тулуп и валенки представляли одну сплошную белую массу. Это был почтовый кузнец Савелий. Узнав его, когда кузнец вошел в маслобойню и стряхнулся, Костик плюнул и сказал:

- Тьфу, чтоб тебе пусто было! напужал только насмерть.
 - Что больно пужлив стал? – спросил кузнец, обивая шапку и собираясь распоясываться.
 - Да ведь ишь ты какой белый! – отвечал спохватившийся Костик.
 - Белый, брат! Ты гляди, снег-то какой содит, страсть! и подземки крутить начинает.
 - Откуда ж тебя Бог несет, дядя Савелий? – спросил Прокудин.
 - А ты, дядя Исай, прежде взыщи гостя, а там спрашивай. Эх ты, голова с мозгом!
- Прокудин достал из поставца полштоф и стаканчик и поднес Савелию.
- Куда ж, мол, едешь-то?
 - Ехал было к тебе.
 - По дороге, что ль?
 - Нет, изнарочна.
 - Что так?
 - Так, спроведать задумал.
 - Нет, исправда?
 - Да правда ж, правда.
 - Ты, парень, что-то говоришь, да не досказываешь.
 - Вот те и раз! Вот за простоту-то мою и покор. Что ж, как живешь-можешь, Матвеевич?
 - Ничего, твоими молитвами!
 - Ну, брат, по моим молитвам давно бы вытянулся. Моя молитва-то: не успеешь лба путем перекрестить, то туда зовут, то туда кличут; хоть пропади! Хозяюшка как?
 - Ничего; что ей на старости делается!
 - Детки? невестка молодая?
 - Да ты говори, что хочешь сказать-то?
- Прокудин и Костик зорко смотрели в глаза кузнецу.
- Что сказать-то?
 - Да что знаешь о невестке?

– Она у меня.

– Что врешь?

– Ей, право.

– Как так?

– Да так, меня вчера дома не было, ездил в город; а она прибегла к хозяйке вся дроглая, перепросилась переночевать, да так и осталась. Нонеча она молчит, а мы не гоним. Такая-то слабая, – в чем жизнь держится, куда ее прогнать. А под вечер я подумал: Бог, мол, знает, как бы греха какого не было, да вот и прибежал к вам.

– На лошади, что ль?

– Да, а то как же? не пешком, чай.

Прокудин разбудил спавшего племянника и послал его дать гостевой лошади сена и невейки, а сам сел и стал разбирать бороду. Гость и Костик молчали.

– Так как же? – наконец спросил Костик, обращаясь к Прокудину.

– Это насчет чего?

– Да ведь мне некогда за ней ехать. Завтра в Орел с семям загадано ехать.

– Ой!

– Право.

– Как же тут потрафить!

– Слетать нешто ночью, теперь, чтоб утром ко двору быть, а ее нехай кто-нибудь довезет до дому-то.

– И то правда.

Так и сделали. Часа через полтора Костик ехал с кузнецом на его лошади, а сзади в других санях на лошади Прокудина ехал Вукол и мяукал себе под нос одну из бесконечных русских песенок. Снег перестал сыпаться, метель улеглась, и светлый месяц, стоя высоко на небе, ярко освещал белые, холмистые поля гостомльской котловины. Ночь была морозная и прохватывала до костей. Переднюю лошадию правил кузнец Савелий, а Костик лежал, завернувшись в тулуп, и они оба молчали.

– Эх, брат Костик! запроторил ты сестру ни за что ни про что! – начал было Савелий; но Костик, услышав такой приступ, прикинулся спящим, ничего не ответил. Он лежал, то злясь на сестру, то сводя в уме своем счеты с Исаем Матвеевичем, с которым они имели еще надежду при случае пополевать друг на друга.

А продрогшие лошадки бежали частой трусцой и скоро добежали до избы с резным коньком и ставнями. В этой избе жил веселый и добродушный кузнец Савелий, у которого всегда не ладились его делишки и которого все обманывали, кроме его жены, бывшей его другом, нянькою, любовницей и Ангелом Хранителем. Теперь в этой избе была Настя. Она спала тревожным, тяжелым сном, обнявшись с женою кузнеца Савелья. В избе кузнеца было очень тепло и опрятно: на столе лежали ковриги, закрытые белым закатником, и пахло свежеиспеченным хлебом; а со двора в стены постукивал мороз, и кузнечиха, просыпаясь, с беспокойством взглядывала в окна, разрисованные ледяными кристалликами, сквозь пестрый узор которых в избу светила луна своим бледным, дрожащим светом.

Часу в третьем ночи раздался стук в ворота, и вслед за тем кузнец ударил несколько раз осторожно кнутовищем по оконной раме и назвал по имени ждавшую его с беспокойством жену.

VII

Настя не слыхала, как кузнечиха встала с постели и отперла мужу сеничные двери, в которые тот вошел и сам отпер ворота своего дворика. Она проснулась, когда в избе уж горел огонь и приехавшие отряхивались и скребли с бород намерзшие ледяные сосульки. Увидя между

посетителями брата, Настя словно обмерла и, обернувшись к стене, лежала, не обнаруживая никакого движения.

Кузнец оттирал свой тулуп, который смерзся колом; Вукол, прислонясь к печке, грел свои руки; а Костик ходил взад и вперед по избе, постукивая на ходу нога об ногу.

– Ты б, Авдотья, нам картошечек сварила позавтракать, – обратился кузнец к жене, которая уже разводила на загнетке огонь под таганчиком.

– Я и то вот хочу сварить, – отвечала кузнечиха.

– А водочки нет? – спросил кузнец.

– И-и! где ж ей быть? Откуда?

– Ну и не надо.

– И так обойдется, – подтвердила жена, ставя на таган чугунок с водою.

– Что ж это ты, Ивановна, плохо хозяйствуешь? – спросил кузнечиху Костик.

– Как так плохо?

– Да вот муж прозяб, а у тебя согреть его нечем.

– А! это-то. Небось согреется.

– Как же водочки-то ты не припасла?

– Да откуда мне ее припасти? Припасать его дело. Что припасет, то и сберегу; а мне где припасать. Одна в доме; ребят да скотину впору опекать.

– Работника-то аль отпустили?

– Да отпустили ж.

– Что так?

– Да так: капитала нет, и отпустили.

– Плохо.

– Жалостливый какой! – сказал кузнец, подмигнув жене.

– Да, – ответила та с скрытой улыбкой.

– Право. Ты чего смеешься? Я, брат, по душе жалею, – проговорил нимало не смешавшийся Костик.

– Ужалел, брат! Как бы не ты пристал осенью с ножом к горлу за деньги, так и мерин бы чалый на дворе остался, и работник бы был. А то ведь как жид некрещеный тянул.

– Чудак! Коли нужно было.

– Давал на пять лет, а вытянул назад через полтора года. Такая-то твоя помощь не то что вызволила нас, а в разор ввела.

– Полно жалобиться-то! – с некоторою досадою проговорила кузнечиха. – Живы будем, и сыты будем. С голодом еще не сидели. Дай Бог только здоровья твоим рукам, а то наедемся, да и добрых людей еще накормим.

– Эка у тебя хозяйка-то, Савелий, разумная! – сказал Костик.

Кузнец ничего не ответил на это замечание и только поглядел на свою бабу, которая, опершись рукою на ухват, стояла перед таганом и смотрела в чугунок, кипевший белым ключом.

– Нужно, брат, было, – сказал Костик, помолчав. – Тут жена заболела, а там братишек в ученье свезли, а напоследки вот сестру замуж выдал.

– Неш ты тут что потратил?

– А ты думаешь?

– Полно брехать, чего не надо.

– Вот и брехать.

– Известно. Эх, совесть! Неш мы делов-то не знаем, что ли?

– Ешьте-ка, вот вам дела. Нечего урекаться-то. Его были деньги, его над ними воля. А ты вот наживи свои, да тогда и орудуй ими как вздумаешь, – проговорила кузнечиха, ставя на стол чугунок с горячим картофелем, солонку и хлеб.

– Экая тетка Авдотья! гусли, а не баба! – воскликнул Костик, желавший переменить разговор.

– Баба, брат, так баба. Дай Бог хоть всякому такую, – отвечал кузнец, ударив шутя жену ладонью пониже пояса.

– Дури! – крикнула кузнечиха на мужа. – Аль молоденький баловаться-то.

– А то неш стары мы с тобой! а?

– Пятеро батей зовут, да все молодиться будешь.

– Вольно ж тебе, тетка Авдотья, рожать-то! – заметил Костик.

– Вольно! – ответила баба, копаясь около спящих на лавке ребятишек, и улыбнулась.

Мужики тоже все засмеялись.

– Нет, братцы, я вот что задумал, – говорил, подмигнув Вуколу, кузнец, чистя ногтем горячую картофелину. – Я вот стану к солдатке ходить.

– Это умно! – заметил Вукол.

Кузнечиха смотрела на мужа и ничего не говорила.

– Право слово, хочю так сделать.

– Эх ты, бахвал! Полно бахвалить-то, – сказала кузнечиха.

– Чего бахвалить? Я правду говорю.

– Много у солдатки есть и без тебя, и помоложе и получше.

– Это ничего. Старая лошадка борозды не портит.

– Солдатка-то любит, чтоб ходили да носили.

– И мы понесем.

– Что понесешь-то? Ребят-то вот прокорми.

– А цур им, ребята!

– Цур им.

– Ай да Савелий! Молодец! – крикнул Костик. – А ты, видно, завистна на мужа-то, тетка Авдотья?

– Тьфу! По мне, хоть он там к десяти солдаткам ходи, так в ту же пору. Еще покойней будет.

Мужики опять засмеялись над Авдотьей, которая хорошо знала, что муж шутит, а все-таки не стерпела и рассердилась.

Поели картофель, помолились Богу и сказали спасибо хозяйке. Кузнец хотел обнять жену, но она отвела его руки и сказала: «Ступай с солдаткой обниматься!»

Костик закурил трубочку и велел Вуколу выводить за ворота лошадь. Когда Вукол вышел за двери, Костик встал и, подойдя к кузнечиной постели, одернул с Насти одеяло и крикнул: «Вставай!»

Настя вскочила, села на кровати и опять потянула на себя одеяло, чтобы закрыть себя хоть по пояс.

– Вставай! – повторил Костик.

– Полно тебе, – сказала кузнечиха. – Отойди от нее, дай ей одеться-то. Ведь она не махонькая; не вставать же ей при мужиках в одной рубахе.

Костик отошел; Настя безропотно стала одеваться. Кузнечиха ей помогала и все шептала ей на ухо: «Иди, лебедка! ничего уж не сделаешь. Иди, терпи: стерпится, слюбится. От дождя-то не в воду же?»

Вукол вывел лошадь за ворота и стукнул кнутовищем в окно; Настя одела кузнечихину свиту, подпоясалась и сошла на нижний пол; Костик встал и, сверкнув на сестру своими глазами, сказал:

– Ну-ка иди, голубка!

Настя стояла.

– Иди, мол, – крикнул он и толкнул сестру в спину.

Настя стала прощаться с Авдотьей.

– А ты вот что, Борисыч! ты пожалей сестру, а не обижай. Обижать-то бабу много кого найдется, а пожалеть некому.

– Ладно, – ответил Костик и опять толкнул Настю.

– Да ты что толкаешься-то! – сказала кузнечиха, переменяв голос.

– Хочу, и толкаюсь.

– Нет, малый, ты там в своем доме волен делать что хочешь, а у нас в избе не обижай бабу.

– Ты закажешь? – гневно спросил Костик.

– А еще как закажу-то! Нет тебе сестры, да и все тут! – воскликнула кузнечиха и пихнула Настю опять на верхний пол.

– А, такая-то ты! Разлучать мужа с женой вздумала!

– Не брешь, дядя, кобелем. Я злым делам и не рукодельница и не потатчица. Я сама своего мужа послала, чтоб, как ни на есть, свести твою сестру с Гришкой, без сраму, без греха; а не разлучница я.

– Что ж теперь делаешь?

– А то и делаю. Я думала, что ты ее возьмешь, как по-Божьему, как брат; а ты и здесь зачинаешь все шибком да рыском; поезжай же с Богом: я сама ее приведу...

– Савелий! – крикнул Костик.

– Что? – отвечал кузнец.

– Чего ж ты молчишь?

– А что ж мне говорить?

– Да что ж вы, разбойничать, что ли? На вас, чай, ведь суд есть.

– Ну, брат, мы там по-судейскому не разумеем.

Костик прыгнул на пол, схватил за руку сестру и дернул ее к двери.

– Э! стой, дядя, не балуй! – сказала кузнечиха. – У меня ведь вон тридцать соколов рядом, в одном дворе. Только крикну, так дадут другу любезному такое мяло, что теплей летошнего. Не узнаешь, на какой бок переворачиваться.

Костику были знакомы кулаки гостомльских ямщиков. Он вспомнил прошлогоднюю ссору с ними на ярмарке и выпустил из своей руки сестрину руку.

– Нет, уж пусти меня, Авдотьюшка, – проговорила Настя, затрясаясь от угрозы кузнечихи, – пусти, милая, поеду; все равно.

– Я тебя сама отвезу.

– Нет, пусти, пусти, – повторяла Настя, боявшаяся за строптивного брата, и сама тянула его за рукав к двери.

Кузнечиха пожала плечами и сказала:

– Ну, коли на то твоя воля, я тебе не перечу.

– Прощай, прощай! – повторила Настя и вышла за двери.

– Благодарим на угощении, на ласке! – язвительно сказал Костик и вышел вслед за сестрою.

– Не на чем, голубчик! – спокойно ответила Авдотья.

Сани заскрипели по снегу, а на дворе еще было темно.

– Иззяб ты? – спросила кузнечиха мужа.

– Спать хочется.

– Ступай на печь.

– Надо пойти ворота запереть.

– Ложись, я запру.

Кузнец полез на печку, а жена вышла на двор в одной рубахе и в красной шерстяной юбке. Вернувшись со двора, она погасила каганец и, сказав: «Как холодно!», прыгнула к мужу на печку.

- Зазнобилась? – спросил жену кузнец.
- Холодно смерть, – отвечала Авдотья.

VIII

Костик уехал с бариним в Орел. Говорили, что они уехали на целую неделю, а может, и больше. На хуторе все ходило веселее. Барин у них был не лихой человек, и над ним даже не смеялись, потому что он был из духовных, знал народ и умел с ним сделываться. Сначала он, по барынининому настоянию, хотел было произвести две реформы в нравах своих подданных, то есть запретить ребятишкам звать мужиков и баб полуименем, а девкам вменить в обязанность носить юбки; но обе эти реформы не принялись. На первую мужики отвечали, что это делается по простоте, что все у нас друг друга зовут полуименами: Данилка-дядя, тетка Аришка и т. п. Либо полуименем, либо по одному отчеству, а полным крещеным именем редко кого называют. А относительно девичьих нарядов сказали, что девки на Гостомле «спокон века» ходили в одних вышитых рубашках и что это ничему не вредит; что умная девка и в одной рубашке будет девкою, а зрячая, во что ее ни одень, прогорит, духом.

– Да не то, ребяташки! а ведь нехорошо смотреть-то на большую девку, как идет в одной рубашке, – говорил барин.

– А ты, Митрий Семеныч, не гляди, коли нехорошо тебе показывается, – отвечали мужики.

Так барин отказался от своих реформ и не только сам привык звать мужиков либо Васильичами да Ивановичами, либо Данилками, но даже сам пристально смотрел вслед девкам, когда они летом проходили мимо окон в белоснежных рубахах с красными прошивами. Однако на хуторе очень любили, когда барин был в отъезде, и еще более любили, если с ним в отъезде была и барыня. На хуторе тогда был праздник; все ничего не делали: все ходили друг к другу в гости и совсем забывали свои ссоры и ябеды.

Были сумерки; на дворе опять порошил беленький снежок. Петровна в черной свитке, повязанная темненьким бумажным платочком, вышла с палочкою на двор и, перейдя шероховатую мельничную плотину, зашкандыбала знакомой дорожкой, которая желтоватой полосой вилась по белой равнине замерзшего пруда. За Петровной бежала серая шавка Фиделька и тот рябый кобель, к которому Настя приравнивала своего прежнего жениха, а теперешнего мужа.

Настя сидела, сложив на коленях руки, в избе Прокудиных. Она была теперь одна-одиношенька: все семейные были на маслобойне, где заводили новый тяжелый сокол и где потому нужно было много силы. Она была в своем обыкновенном, убитом состоянии и не заметила, как в избе совсем стемнело и как кто-то вошел в двери и, закашлявшись, прислонился к притолке. Она пришла в себя, когда знакомый старческий голос, прорываясь через удушье, произнес:

– Где ты, Настя?

Настя вскрикнула: «Матушка моя родимая!» – бросилась к матери и зарыдала.

– Так-то, дочка моя родимая! Таково-то лестно матушке слышать все, что про тебя люди носят да разношивают.

Настя плакала на материнской иссохшей груди.

– Что, дитя мое? Что? Что будем делать-то? – спрашивала Петровна, поправляя волосы, выбившиеся из-под Настиной повязки.

– Ох! не знаю, матушка, – отвечала Настя, отслонясь от материной груди и утирая свои глаза.

– Сядем-ка. Смерть я устала... удушье совсем меня задушило, – говорила Петровна, совсем задыхаясь.

– Зачем ты пришла-то? Измучилась небось.

– К тебе, – едва выговорила Петровна. – Слухи все такие, словно в бубны бубнят... каково мне слушать-то! Ведь ты мне дочь. Нешто он, народ-то, разбирает? Ведь он вот что говорит... просто слушать срам. «Хорошо, говорят, Петровна сберегла дочку-то!» Я знаю, что это неправда, да ведь на чужой роток не накинешь моток. Так-то, дочка моя, Настюшка! Так-то, мой сердечный друг! – договаривала старуха сквозь слезы и совсем заплакала.

– Матушка, матушка! зачем же ты меня выдала замуж? Иль я тебя не почитала, не берегла тебя, не смотрела за твоей старостью?

– Дитя ты мое милое! – пропищала старуха сквозь слезы и еще горче заплакала.

Сидят обе рядом в темной избе и плачут. Только Настя не рыдала, как мать, а плакала тихо, без звука, покойно плакала. Она словно прислушивалась к старческим всхлипываниям матери и о чем-то размышляла.

– Змея одна своих детей пожирает, – проговорила Настя, как будто подумала вслух.

– Что ты говоришь? – спросила Петровна, не расслышавшая слов Насти.

Настя ничего не отвечала; но, помолчав немного, опять, как бы невольно, проронила:

– Погубили мою жизнь; продали мое тело, и душеньку мою продадут. Выпхнули на позор, на муку, да меня ж упрекают, на меня ж плачутся.

Петровна продолжала плакать.

– Матушка! – крикнула Настасья, вскочив с лавки.

– Что, моя дочушка?

– Не рви ты моего сердца своими слезами! И так уж изорвали его и наругались над ним. Говори сразу, чего ты хочешь?

– Сядь, Настюшка.

Настя села.

– Теперь ведь сделанного не воротишь.

– Ну!

– Не развенчаешься.

– Ну!

– Надо с мужем жить, как Бог приказал.

Настя, бледная, молчала.

– Родная ты моя!

– Что?

– Сними ты с моей старой головы срам-покор; пожалей ты и самое себя!

– Не приставай! – тихо ответила Настя.

– Пожалей себя!

– Пожалеею, пожалеею, только не приставайте вы ко мне, ради Матери Божией.

Заковыляла опять Петровна своею дорожкой, а Настя, стоя на пороге, долго-долго смотрела ей вслед, отерла слезу, вздохнула и воротилась в избу.

Собрались семейные, поужинали и пошли на ночлег по своим местам; и Настя пошла в свою пуньку.

«Господи Боже мой! чего только они радуются?» – думала Настя, придя на другой вечер в гости к матери.

А Петровна и невестка Алена не знают, где ее и посадить и чем потчевать. Такие веселые, что будто им кто сто рублей подарил или счастье им какое с неба свалилось. Грустно это было Насте и смешно, но меньше смешно, чем грустно.

Сама Настя, однако, была покойнее, хотя собственно этот покой был покой человека, которому нечего больше терять и который уже ничего не хочет пугаться. Только она еще будто немножко побледнела в лице, и под глазами у нее провелись синие кружки.

Потчевали Настю и капустой и медом, но она ничего не хотела есть. Спрашивали ее, отчего мужа с собою не привела, но она ничего на это не отвечала, – «пора ко двору», – собралась и ушла.

И стала таким манером Настя жить в свекровом доме, как и другие невестки, и стали ее все уважать и заговорили с ней ласково. С мужем она никогда не говорила, ни при людях, ни без людей. За это на нее иногда серчал свекор, но как она вообще и ни с кем не была разговорчива, то и это на ней не взыскивали. «Молчаливая» да «молчаливая она у нас»; так и оставили. Так прошла масленица, пришел Великий пост, Настя ходила говеть, исповедовалась и причащалась. Пришли «суроки», на дворе стало крепко теплеть. Зима отошла, и белый снег по ней подернулся траурным флером; дороги совсем почернели; по пригоркам показались проталины, на которых качался иссохший прошлогодний полынь, а в лощинах появились зажоры, в которых по самое брюхо тонули крестьянские лошади; бабы городили под окнами из раковых колышков козлы, натягивали на них суровые нитки и собирались расстилать небеленые холсты; мужики пробовали раскидывать по конопляникам навоз, брошенный осенью в кучах. Голодные грачи жадно хватили из навоза круглые коричневые комья и, носясь с оглушительным криком над деревнею, оспаривали друг у друга скудную добычу. Письмоводитель станвого переносил из избы в избу мертвое тело, явившееся наружу из-под осевшего снега, и собирал с мужиков контрибуцию за освобождение их от вскрытия в их доме позеленевшего трупа. Словом, наступила весна, со всем тем, чем она обыкновенно знаменует свое пришествие к нам на Гостомле.

Было Вербное воскресенье. День был светлый, теплый, солнечный. На дворе так хорошо, что не входил бы под крышу. Небо бледно-голубое, подернуто разорванными белыми облаками; воздух пропитан животворным теплом, и слышен крепкий запах оттаивающей земли и навоза. Над прогалинами вверху заливаются голосистые жаворонки, а на завалинах изб несметными стадами толкуются под обаянием весенних побуждений сладострастные воробьи. Все хочет жить; все собирается жить; все просит жизни. Чувствуется во всем пора любви, пора темных желаний, томительных, и тоски безграничной для тех, кому не с кем делить ни горя, ни радостей.

У Прокудиных дома оставалась только одна Домна. Все ушли к церкви, на ярмарку; даже ребятенок старших с собою забрали. А самые младшие со всей деревни собрались на стог кострики и, барахтаясь там, играли в свои ребячьи игры. Настя рано утром пошла навещать кузнечиху Авдотью, которая, поднимая хлебную дежу, надорвалась и лежала нездоровою. Посидела Настя у кузнечихи с часок и пошла домой. Так ей и хорошо было, как она шла полями, и мучительно; даже страшно стало. Пошла она шибче, шибче, а кругом все тихо, только слышно, как трухлый снег подтаивает и оседает. Дорога была тяжелая, потому что нога просовывалась и вязла. Устала Настя и, войдя в избу, села на лавку против самой печки, у которой стряпалась Домна.

– Аль уморилась? – спросила ее Домна.

– Уморилась, Домнушка.

– Что так? Недалече, чай?

– Недалече, да уморилась. Тяжко больно ходить-то стало.

– Ты гляди, бабочка, не тяжела ли сама-то стала? – спросила Домна, пристально глядя на Настю.

– И, Бог с тобой! Что только вздумаешь! – проговорила, покраснев, Настя.

– Что вздумаю! Это, девушка, неш долго?

– Бог с ними.

– Дети-то?

– Да.

– Ну, ведь там хочешь не хочешь, а уж на то ты баба теперь.

- Помилуй Господи!
- Аль рожать боишься?
- Что рожать! Люди рожают, да живы. А хоть бы умереть, так в ту ж бы пору.
- Так что ж: с деткой-то лучше, веселей-ча.

Настя молчала и смотрела в огонь печи.

- Чего ты не раздеваешься? Жарко в свите-то, да еще подпоясамшись.
- Сичас, – ответила Настя, а сама, не трогаясь с места, все продолжала смотреть в огонь.
- Нет, ты, касатка, этого не говори. Это грех перед Богом даже. Дети – Божье благословение. Дети есть – значить Божье благословение над тобой есть, – рассказывала Домна, передвигая в печи горшки. – Опять муж, – продолжала она. – Теперь как муж ни люби жену, а как родит она ему детку, так вдвое та любовь у него к жене вырастает. Вот хоть бы тот же Савелий: ведь уж какую нужду терпят, а как родится у него дитя, уж он и радости своей не сложит. То любит бабу, а то так и припадает к ней, так за нею и гибнет.

- Любит, – тихо промолвила Настя.
- Известно, любит. Ну и она его жалеет; нечего сказать, добрая баба.
- И она любит, – опять проговорила Настя.
- Ну иной и не то чтобы уж очень друг с дружкой любилися, а как пойдут ребятки, так тоже как сживутся: любо-два. Эх! не всем, бабочка, все любовь-то эта предназначена.
- С чего же не всем?
- Да ишь вот не всем.
- Это все люди делают.
- Известно, люди, либо опять, так сказать, нужда то же делает.
- Нет, все люди.

Обе невестки замолчали.

- Вот только что у тебя муж-то не такой, как у добрых людей, – продолжала Домна.
- Настя покраснела, как будто ее поймали на каком-нибудь преступлении или отгадали ее сокровенную мысль.
- И чудно как это, – продолжала Домна.
- О-ох! – болезненно произнесла Настя.
- Что тебе?
- Ничего.
- Чудно это, я говорю, как если любишь мужа-то, да зайдешь в тяжесть и трепыхнется в тебе ребенок. Боже ты мой, Господи! Такою тут мертвой любовью-то схватит к мужу: умерла б, кажется, за него; что не знать бы, кажется, что сделала. Право.

А Настя ни словечка не отвечает; брови сдвинула и все смотрела, смотрела в огонь, да как крикнет не своим голосом:

- Ой! ой!
- Что ты? что ты, Настя? – бросилась к ней Домна.
- Ой! сосет, сосет меня!
- Кто сосет? где?
- За сердце, за сердце. Ой! ой!
- Что ты, Бог с тобой! Испей водицы.
- Нет, сосет! сосет! Пусти, пусти меня. Ай! ай! отгони, отгони!
- Да кого отогнать? – спросила перепуганная Домна.
- Змей, змей огненный, ай! ай! За сердце... за сердце меня взял... ох! – тихо dokonчила Настя и покатила на лавку.

У нее началась жестокая истерика. Она хохотала, плакала, смеялась, рвала на себе волосы и, упав с лавки, каталась по полу.

IX

Часто с Настею стали повторяться с этого раза такие припадки. Толковали сначала, что «это брюхом», что она беременна; позвали бабу, бабка сказала, что неправда, не беременна Настя. Стали все в один голос говорить, что Настя испорчена, что в ней бес сидит. Привезли из Аплечеева отставного солдата-знахаря. Тот приехал, расспросил обо всем домашних и в особенности Домну, посмотрел Насте в лицо; посмотрел на воду и объявил, что Настя действительно испорчена.

– И испорчена она, судари вы мои, – сказал знахарь, – злою рукою и большим знахарем, так что помочь этому делу мудрено: потому как напущен на нее бес, называемый рабин-батка. Есть это что самый наизлющий бес, и выгнать его больно мудрено.

Прокудин, к чести его сказать, заботился о невестке и усердно просил знахаря, обещая ему дать, что он ни потребует; а Петровна в ногах у него валялась.

Поломался знахарь, взял десять рублей на лекарства и сказал, что попробует.

Стал он над Настей что вечер шептать, да руками махать, да слова непонятные выкрикивать; а ей стало все хуже да хуже. То в неделю раз, два бывали припадки, а то стали случаться в сутки по два раза. На семью даже оторопь нашла, и стали все Насте чуждаться.

– Что ж, как? – спрашивал Прокудин знахаря.

– Упрям, шельма! Все внутрь в утробу он прячется.

– Не можешь ли сказать, кто это на нее напустил? Пошли бы уж к нему поклониться, пусть только назад вызовет.

– Нельзя этого никак.

– Вызвать-то?

– Нет, сказать...

– Отчего?

– Не ровён час.

– Да ведь ты ж говорил, что их-то ты не боишься.

– Да я не боюсь, а...

– Что же?

– Да видишь, это огневой.

– Ну так что ж, что огневой.

– Ну и нельзя, значит, узнать, кто его посадил.

– Отчего же так?

– Да как же ты узнаешь! Теперь, если по воде пущен, – ну сейчас на воде видать тому, что на этом знается. Опять есть ветряные, что по ветру напущены; ну опять, кто его напустил, тоже есть средство узнать. А огневого как ты узнаешь? Огонь сгорел, и нет его. Узнавай по чему хочешь!

– Да, да, да! – протянул Исай Матвейч. – Вот она штука-то!

– А, то-то и есть!

– Ну, а кабы в те поры, как с ней это случилось, как еще печка топилась, можно бы было узнать?

– Гм! Не то что когда печка топилась, а если б, к примеру, позвали меня, когда еще хоть один уголек оставался, так и то сейчас бы все дело было перед нами.

– Поди ж ты!

Насте все делалось хуже. Все она тосковала, и, видя, что все ее стали бояться, сама себя она начала бояться.

– Что вы меня все этими наговорами лечите? – говорила она свекру с свекровьей. – Какой во мне бес? Я просто больна, сердце у меня ноет, сосет меня что-то за сердце, а вы все меня пугаете с дедами да с бабками.

– Это *он* все в ней хитрует, – говорил солдат. – Видно, ему жутко от меня приходит.

Солдату верили не верили, а деньги платили.

– Вот что, – сказал солдат. – Мне ее здесь у вас неловко лечить, потому что тут *он* все имеет в печке свое обчество; а отвезите вы ее ко мне.

Отвезли Настю к солдату, и денег дали, и муки, и жмыхи, и масла. Пробыла Настя у своего лекаря два дня, а на третий вечером пришла домой и ни за что не хотела к нему возвращаться. Солдат тоже за ней не гнался, но довольствовался тем, что получил, и, видя свою неустойку, рассказывал, что бес, сидящий в Насте, распалил ее к нему «страстью». «Ну я, Боже меня сохрани от этих глупостей! Я свой закон содержу; она и ушла». Настя могла бы рассказать дело и с иной стороны, да поверили ли бы ей? Ей даже не верили, что в ней нет беса, хотя она и Богу молилась, и людей жалела больше других, не находящих в себе беса. Она уж и не пыталась ничего за себя говорить и жила – сохла без всякой жалобы. Что говорить напрасно! У нас уж всем известно правило, и пословица говорится: «Пил не пил, а коли говорят пьян, – так иди лучше спать ложись». А припадки все не прекращались. Стала Настя такая мудреная, что чуть на нее кто скажет громко, или крикнет изнавести, или невзначай чем стукнет, она так вся и задрожит. А если тут на нее глянуть пристально или заговорить с ней о том, что близко ее сердцу, сейчас у нее припадок. Пойдет ее корчить, ломать, и конца нет мукам.

Дошло это до отца Лариона, нашего приходского священника. Он, едучи с требой, завидел Исаю Матвеевича и сказал, что над его невесткой можно прочесть чин заклинания.

Пошла Настя с семейными к обедне. Пошли они рано и прямо завели Настю к отцу Лариону.

– Пусть батюшка над тобой почитает.

– Что почитает? – спросила с изумлением Настя.

– Молитвы.

– Какие молитвы?

– Он уж знает.

– На что надо мной читать?

– О твоём здоровье.

– Что вы только затеваете?

Вошел отец Ларион, облачился, взял себе одну зажженную восковую свечу, а другую дал Насте и, благословив зачалю, стал читать по Требнику заклинание на злого духа.

В комнате было открыто окно, и из этого окна был виден зеленый сад, где утреннее солнышко, «освещая злыя и добрыя», играло по новым изумрудным листочкам молодого вишенника и старых яблонь. У Насти защемило сердце, и она бросилась к открытому окну. Она хотела только стать у окна, дыхнуть свежим воздухом, посмотреть на вольный мир Божий, а четыре сильные руки схватили ее сзади и дернули назад. Настя, болезненно настроенная, испугалась, вскрикнула и отчаянно рванулась. Но Прокудин и Вукол крепко держали ее за локти, и нельзя ей было вырваться. Стала Настя биться у них в руках, побледнела как смерть и кричит:

– Ай! ай! не мучьте меня, пустите, пустите!

– Держи, Гришка! – сказал Прокудин.

Григорий, по отцовскому приказанию, схватил жену под плечи и не давал ей пятиться. Настя вскрикнула еще громче и рванулась так, что трое насилу ее удержали, но тотчас же стихла и опустилась на держащие ее руки. Священник накрыл больную епитрахилью и окончил чтение заклинаний.

Настя долго оставалась без чувств, как мертвая.

Через час Настя очнулась, обедня уже кончилась, и ее повели домой. Она была очень слаба, и глаза у нее были нехорошие, мутные. Настя шла грустно, но покойно, да у самого поворота к дому стали у нее над ухом перешептываться бабы: «испорченная, испорченная», она и стала метаться. Прокудин с другим стариком-соседом взяли ее опять за руки, пройдя несколько шагов. Настя не сопротивлялась, но стала охать: «ох!» да «ох!» Все от нее сторонятся, смотрят на нее, а она еще пуще, все охает и все раз от разу громче, да вдруг и хлоп с ног долой, да и закричала на всю улицу: «А-ах! а-х! Извести меня хотят! А-ах! Злодеи! Не дамся я вам, не дамся!»

– Ишь как *он* в ней раскуражился-то! – говорил народ, когда Настю понесли на руках и положили на зеленой могилке, где она и очнулась.

Вернулись все домой, а Насти не было. Два дня и три ночи она пропадала. Ездили за ней и к кузнецу, и к Петровне, но никто ее нигде не видал. На третий день чередников мальчишка, пригнавши вечером овец, сказал: «А Настька-то прокудинская в ярушках над громовым ключом сидит». Поехали к громовому ключу и взяли Настю. Дома она ни на одно слово не отвечала. Села на лавку и опять охать.

– Ох! куда деться! Куда деваться? Куда деться? Куда деваться?

Повторяет все это и из стороны в сторону качается, будто как за каждым вопросом хочет куда-то метнуться. То в окно глянет, то на людей смотрит, – жалостно так смотрит и все стонет: «Куда деваться? Куда деваться?»

Часть вторая

I

Отличный был домик в О-е у Силы Иваныча Крылушкина. Домик этот был деревянный, в два этажа. С улицы он казался очень маленьким, всего в три окна, а в самом деле в нем было много помещения; но он весь выходил одною стороною в двор, а двумя остальными в старый густой сад. Домик этот стоял в глухом переулке, у Никитья, за развалинами огромного старинного боярского дома, в остатках которого помещалось духовное училище, называемое почему-то Мацневским. Это было у самого выезда, по новугорской дороге. Старик Крылушкин давно жил здесь. В молодости он тут вел свою торговлю, а потом, схоронив на тридцатом году своей жизни жену, которую, по людским рассказам, он сам замучил, Крылушкин прекратил все торговые дела, запер дом и лет пять странничал. Он был в Палестине, в Турции, в Соловках, потом жил с каким-то старцем в Грузии и, научившись от него лечению, вернулся в свое запустелое жилище. Приведя домик в возможный порядок, Крылушкин стал принимать больных и скоро сделался у нас очень известным человеком. Он с бедных людей ничего не брал за лечение, да и вообще и с состоятельных-то людей брал столько, чтоб прожить можно больному. Сам Крылушкин жил доходом с своего большого плодovitого сада, который сдавал обыкновенно рублей за двести или за триста в год. Этого было достаточно Крылушкину, до крайности ограничившему свои потребности. Его умеренность и бескорыстие были известны целому городу и целой губернии. О-ие кумушки говорили, что, мол, Крылушкин или не мол, а ему не отмолить своего греха перед женою, которую он до поры сжил со света своей душой ревнивою да рукой тяжелою; но народушка не обращал внимания на эти толки. Говорили: «Бог знает, что у него там есть на душе: чужая душа – потемки; а он нам помогает и никем не требует; видим, что он есть человек доброй души, христианской, и почитаем его».

Под старость, до которой Крылушкин дожил в этом же самом домике, леча больных, пересушивая свои травы и читая духовные книги, его совсем забыли попрекать женою, и был для всех он просто: «Сила Иваныч Крылушкин», без всякого прошлого. Все ему кланялись, в лавках ему подавали стул, все верили, что он «святой человек, Божий».

За лечение Насти Сила Иваныч взял только по два целковых в месяц, по два пуда муки да по мерке круп. Вылечить он ее не обещался, а сказал: «Пускай поживет у меня, – посмотрим, что Бог даст». В это время у него больных немного было: две молодые хорошенькие подгородние бабочки с секундарным сифилисом, господская девушка с социатиной в берцовой кости, ткач с сильнейшею грудною чахоткою, старый солдат, у которого все открывалась рана, полученная на бородинских маневрах, да Настя. В доме был простор, и Сила Иванович мог бы дать Насте совсем отдельное помещение, но он не поместил ее внизу, с больными, а взял к себе наверх. Наверху было всего четыре комнаты и кухня. Две из этих комнат занимал сам Крылушкин, в третьей жила его кухарка Пелагея Дмитриевна, а в четвертой стояли сундуки, платье висело и разные домашние вещи. В этой комнате поместил Крылушкин привезенную к нему Настю.

– Вот тебя тут, Настасьюшка, никто не будет беспокоить, – сказал Крылушкин, – хочешь, сиди, хочешь, спи, хочешь, работай или гуляй, – что хочешь, то и делай. А скучно станет, вот с Митревной поболтай, ко мне приди, вот тут же через Митревнину комнату. Не скучай! Чего скучать? Все Божья власть, Бог дал горе, Бог и обрадует. А меня ты не бойся; я такой же человек, как и ты. Ничего я не знаю и ни с кем не знаюсь, а верую, что всякая болезнь от Господа посылается на человека и по Господней воле проходит.

Пелагея Дмитриевна была слуга, достойная своего хозяина. Это было кротчайшее и незлобивейшее существо в мире; она стряпала, убиралась по дому, берегла хозяйские крошки и всем, кому чем могла, служила. Ее все больные очень любили, и она всех любила равной любовью. Только к Насте она с первого же дня стала обнаруживать исключительную нежность, которая не более как через неделю после Настинного приезда обратилась у старухи в глубокую сердечную привязанность.

Это было в первой половине мая.

Прошло две недели с приезда Насти к Крылушкину. Он ей не давал никакого лекарства, только молока велел пить как можно больше. Настя и пила молоко от крылушкинской коровы, как воду, сплошь все дни, и среды, и пятницы. Грусть на Настю часто находила, но припадков, как она приехала к Крылушкину, ни разу не было.

Прошла еще неделя.

– Ты, Настасьюшка, кажись, у меня иной раз скучаешь? – спросил Крылушкин.

– Да што, Сила Иваныч? – отвечала Настя, сконфузясь и улыбаясь давно сошедшей с ее милого лица улыбкой.

– Это нехорошо, молодка!

– Да неш я себя хвалю за это! Да никак с собой не совладаешь.

– Ты б поработалась.

– Что поработать-то! Я с моей радостью великою.

– Вон Митревне помогала бы чем-нибудь.

– Да я ей бы помогала.

– Да что ж?

– Не пускает: все жалеет меня.

– Митревна! – крикнул Крылушкин. – Ты зачем не пускаешь Настю поработаться?

– О-о! да пускай она погуляет, – отвечала старуха с нежнейшим участием к своей любимице.

Крылушкин засмеялся, поправил свои белые волосы и, смеясь же, сказал:

– Что-то ты у меня на старости-то лет не умна уж становишься? Да разве я Настю для своей корысти приневоливаю работать?

– О! да я это знаю, да...

– Да что? Сказать-то и нечего, – поддразнил опять, смеясь, Крылушкин.

– Да пускай погуляет, – досказала старуха.

– Не слушай ее, Настя, Господь Сам заповедал нам работать и в поте лица есть хлеб наш.

У тебя руки, слава Богу, здоровы, – что вздумаешь, то и работай.

– Чулки неш вязать?

– На что тебе чулки?

– На базар продать.

– Пусто им будь, этим чулкам! это ледящая работа. Тебе ведь денег не нужно?

– Мне на что же деньги?

– Ну то-то и есть; так и чулки не на что вязать, гнутья на одном месте.

– Да что ж делать-то? – спросила опять Настя и сама опять рассмеялась.

Крылушкин, улыбаясь, вышел в свою комнату и через минуту возвратился оттуда с парюю своих старых замшевых перчаток.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.